

всѣ остальные лишь отъ него узнали объ этомъ послѣднемъ, то это обстоятельство сообщаетъ авторитетъ и придуманному имъ названію. Но подобное положеніе дѣлъ мыслимо лишь по отношенію къ самымъ немногимъ предметамъ. Вообще же говоря, лишь примѣнимость (*die angemessenheit*) названія обезпечиваетъ ему всеобщее распространеніе, т. е. опять-таки внутреннее отношеніе между звукомъ и значеніемъ, которое тамъ, гдѣ отсутствуетъ промежуточная среда, не можетъ основываться ни на чемъ другомъ, кромѣ чувственного впечатлѣнія, производимаго звукомъ на слышащаго, и на удовлетвореніи, которое доставляетъ говорящему лицу дѣятельность моторныхъ нервовъ, необходимая для произведенія звука". (H. Paul. 142—143). Этимъ послѣднимъ положеніемъ Пауль устанавливается еще одинъ принципъ, который игралъ роль въ образованіи языка и заключается въ чувствѣ удовольствія, испытывавшемся при издаваніи звука. Эта принципъ находитъ полное подтвержденіе въ томъ множествѣ словъ для означенія шумовъ и движений, которые являются сравнительно новыми созданіями во всѣхъ современныхъ языкахъ. Сотни ихъ можно насчитать и въ русскомъ языкѣ, какъ во всякомъ другомъ. Разсмотрѣвъ цѣлую группу подобныхъ образованій въ современному нѣмецкому языкѣ, Пауль останавливается на ихъ звуковой формѣ. „То обстоятельство, что въ этой группѣ словъ мы ощущаемъ внутреннюю связь между звуковой стороной и значеніемъ, не является въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ доказательствомъ того, что они, дѣйствительно, обязаны своимъ происхожденіемъ именно этому отношенію. Ибо существуетъ, какъ можно доказать, множество такихъ словъ, которыхъ лишь путемъ позднѣйшаго развитія пріобрѣли такой звуковой характеръ или такое значеніе, что могутъ производить впечатлѣніе звукоподражательныхъ образованій. Но все-таки обозрѣніе этихъ словъ во всей ихъ совокупности исключаетъ предположеніе сплошной случайности. При этомъ особенно бросается въ глаза одно обстоятельство, именно многочисленность сходныхъ словъ, отличающихся лишь гласнымъ звукомъ и имѣющихъ одинаковое или же очень близкое значеніе, но не могущихъ восходить по звуковымъ законамъ къ одной праформѣ. Точно также нерѣдко и въ различныхъ языкахъ встрѣчаются сходно звучащія слова этого рода, которыхъ однако по звуковымъ законамъ не могутъ быть въ родствѣ между собой. Точно также известныя *измѣненія* уже готовыхъ словъ могутъ объясняться только звукоподражательнымъ стремленіемъ. Однимъ изъ самыхъ характерныхъ примѣровъ является средне-верхне-нѣмецкое *gousch*=современному нѣмецкому *kukuk* съ промежуточными формами *guskausch*, *kuskusch* и т. под. Всѣ подобныя образованія означаютъ отчасти шумы, отчасти беспокойныя движения. Всѣ эти превращенія слѣдуетъ совершенно отдѣлить отъ звуковыхъ переходовъ и разматривать, какъ частичныя новообразованія. Абсолютными новообразованіями являются, въ сущности, только междометія". На этихъ послѣднихъ Пауль считаетъ нужнымъ

остановиться болѣе обстоятельно. Онъ спрашиваетъ прежде всего, можно ли видѣть въ междометіяхъ „первобытнѣйшія выраженія языковой дѣятельности (sprechtigkeit“). Пауль отрицаєтъ это пониманіе, утверждая, что междометія становятся рефлекторными движеніями только въ силу прочно установленныхъ ассоціацій.

Поэтому, въ разныхъ языкахъ и діалектахъ и у различныхъ людей междометія служать для выраженія разнообразныхъ чувствъ, и то общее, что въ языкѣ связывается съ опредѣленными междометіями, обязано своимъ происхожденіемъ вовсе не прирожденной связи между извѣстными чувствами и восклицаніями, но такой же самой традиціи, которая установила значенія словъ иного происхожденія. Въ доказательство этого положенія Пауль приводитъ извѣстную междометію, возникшую изъ сокращенія цѣлыхъ выраженій, въ родѣ *jetime* (*jesu domine*), но онъ все же допускаетъ наличность такой группы междометій, которая возникла, какъ это можно предположить съ наибольшей вѣроятностью, благодаря рефлекторнымъ движеніямъ. „Большая часть этихъ междометій, при томъ самыхъ индивидуальныхъ въ формальномъ отношеніи и по своему чувственному тону (*empfindungston*), представляетъ собою реакціи на мгновенные возбужденія слухового и зрительного органовъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, мы должны смотрѣть на ихъ первоначальную сущность. Затѣмъ они употребляются и въ воспоминаніи и въ разсказѣ о такихъ событияхъ, которые вызываютъ подобное мгновенное возбужденіе“. Звукоподражательный элементъ силенъ и въ этихъ междометіяхъ: франц. *criccrac*, *drelin-drelon*, нѣм. *lirumlarum*, *pifffraffpuff* и мн. др. Перечисливъ такія образованія, которые восходятъ къ новѣйшему языковому творчеству человѣка, Пауль справедливо указываетъ на то, что между ними и первоначальными образованіями языка должна быть существенная разница, заключающаяся въ томъ, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ не могло быть никакихъ образованій по аналогіи. „Въ нихъ нельзя найти еще никакихъ следовъ какой-нибудь грамматической категоріи. Они соотвѣтствуютъ цѣльнымъ воззрѣніямъ. Это первоначальные предложения, о которыхъ мы еще можемъ составить себѣ представлѣніе“ по такимъ восклицаніямъ, какъ напр. „Воры! Пожаръ!“. Такимъ образомъ, такие первоначальные языковые элементы, выражающіеся въ формѣ восклицанія—междометій, представляютъ собою, собственно, предикаты, которымъ субъектомъ служить извѣстное впечатлѣніе. „Для того, чтобы прийти къ высказыванію такого предложения, человѣкъ долженъ выдѣлить иѣчто опредѣленное изъ множества того, что дано одновременно въ воспріятіи. А такъ какъ подобное выдѣленіе еще не можетъ быть осуществлено съ помощью логической операции, то оно должно быть вызвано внѣшнимъ міромъ. Должно иѣчто произойти для того, чтобы внимание фиксировалось въ опредѣленномъ направленіи. Не покидающейся и безмолвный міръ, но движущейся и зву-

чашій представляет ту среду, которая первая входит въ сознаніе человѣка, и для которой онъ творить первые звуки языка. Мѣсто движенія окружающей среды можетъ занять движеніе собственнаго тѣла, при которомъ взоръ внезапно наталкивается на неожиданную картину. Разумѣется, впечатлѣніе будетъ еще болѣе интенсивно, если имъ возбуждаются радость или страданіе, желаніе или страхъ". Эта психологическая мотивировка первого соединенія восклицанія съ впечатлѣніемъ страдаетъ нѣ-которой расплывчатостью, общею всѣмъ психологическимъ теоріямъ про-исхожденія языка. Неясно, почему только человѣкъ перешелъ къ созда-нию рѣчи отъ тѣхъ криковъ эмоционального характера, которые произво-дятъ вѣдь и другія животныя. Остается неразрѣшеннымъ и другой воп-росъ, на который я не разъ обращалъ вниманіе въ предшествующемъ изложеніи: именно, можетъ ли отъ крика аффекта начинаться называніе предмета, вызвавшаго аффектъ?

Для Пауля этотъ вопросъ, можно сказать, просто не существуетъ: „Мы можемъ сказать относительно древнѣйшихъ словъ, что они связы-ваютъ съ междометнымъ характеромъ несовершенное выраженіе воззрѣ-нія, которое впослѣдствіи передается предложеніемъ“. При этомъ Пауль отмѣчаетъ, что эти первичныя выраженія сознанія были лишены самой существенной особенности всѣхъ позднѣйшихъ словообразованій: человѣкъ еще не понималъ цѣли рѣчи, не имѣлъ намѣренія что-либо сообщать, такъ какъ цѣлесообразная дѣятельность начинается лишь тогда, когда „составлено убѣжденіе, что данными средствами достигается опредѣлен-ная цѣль“. Авторъ не прибавляетъ однако, что для подобнаго убѣжденія должны быть извѣстныя психологическія предпосылки. Опять-таки, ссы-ляясь на примѣръ животнаго, мы видимъ, что оно совершаєтъ цѣлесообраз-ныя дѣйствія, выходящія за предѣлы инстинкта, сначала лишь случайно, а потомъ по устанавливающейся ассоціаціи. Человѣкъ долженъ быть обла-дать особенной силой и живостью ассоціацій, чтобы первоначально безсозна-тельное говореніе могло пріобрѣсти у него, послѣ удачныхъ результатовъ этого „говоренія“, характеръ цѣлесообразныхъ дѣйствій. Удачный ре-зультатъ (бѣгство врага, приближеніе друга и т. п.) долженъ быть сое-диняться съ цѣлью комплексомъ дѣйствій, а не только съ извѣстнаго рода звуками. Какъ выдѣлился изъ этого комплекса звуковой элементъ, какъ особенно важный факторъ, это представляется психологической про-блемой, совсѣмъ не затронутой Г. Паулемъ. Первоначальные звуки явля-ются съ его точки зрѣнія, согласно со Штейнталевской теоріей, только рефлек-сами. „Но когда такой рефлекторный звукъ воспринимается другими индивидуумами одновременно съ чувственнымъ впечатлѣніемъ, которымъ онъ вызванъ, то они могутъ вступить въ связь другъ съ другомъ. То обстоятельство, что другой индивидуумъ ощущаетъ эту связь, можетъ основываться на дѣйствительномъ причинномъ отношеніи, которое уста-

иавливается при помощи первого возбуждения между восприятием и звукомъ". Почему именно со звукомъ, а, напр., не съ мимикой или жестомъ? Вѣдь воспріятій могло быть бесконечное множество, рефлекторныхъ звуковъ, какъ утверждаетъ самъ Пауль, было сравнительно немногого. Предполагая же симпатическое (бесознательное) пониманіе значенія этихъ звуковъ средой, авторъ еще усугубляетъ трудность задачи: вѣдь тогда элементъ бесознательности приобрѣтаетъ еще большее распространение. Между тѣмъ, то, что запомнилось, должно было рѣзко выдѣляться изъ массы обычного, воспринимаемаго напр. полубесознательно или симпатически. Такимъ образомъ, въ своемъ развитіи взглядъ Пауля мало чѣмъ отличается отъ шаблона теоріи междометного происхожденія языка. По вопросу о томъ, какъ установилась цѣлесообразность сообщенія, Пауль высказывается въ томъ смыслѣ, что источникомъ такого познанія цѣли было пониманіе рефлекторного жеста. Но это пониманіе, какъ мы видѣли въ главѣ, посвященной „языку жестовъ“, является инстинктивнымъ, и уже потому не отъ него пошло это расширение человѣческаго сознанія. „Если какому-нибудь индивидууму удалось нѣсколько разъ возбудить съ помощью рефлекторного движения вниманіе“, то у него должно было явиться, по мнѣнію Пауля, и сознательное намѣреніе обращать на себя вниманіе съ помощью жестовъ. Отсюда уже,—если только допустить такое происхожденіе цѣлесообразныхъ сообщеній, что едва-ли возможно,—не трудно перейти и къ языковымъ средствамъ передачи своего содержанія другимъ. Къ не-произвольнымъ рефлекторнымъ движеніямъ стали присоединяться звуки, „въ произведеніи которыхъ съ самаго начала участвовало намѣреніе сообщенія. Но мы должны подчеркнуть намѣренность сообщенія, но не намѣренность создать какое-нибудь постоянное орудіе сообщенія. Новая звуковая группа создается моментальной потребностью“. Такъ, въ сущности, возникъ первоначальный человѣческій языкъ, полагаетъ Пауль. Какъ и въ Гrimmѣ, въ немъ чувствуется изслѣдователь исторического развитія уже существующаго языка. Пауль очень силенъ, когда онъ стоитъ на почвѣ имѣющагося въ дѣйствительности материала, но его основанія довольно шатки, когда ему приходится обращаться въ область гипотезъ, затрагивающихъ область психологическихъ отношеній. Онъ не достаточно подчеркиваетъ разность психическихъ организмовъ животнаго и человѣка. Зато относительно самого характера первобытнаго языка соображенія Пауля весьма цѣнны. Такъ, онъ думаетъ, что первоначальное говореніе предполагаетъ полное разнообразіе жестикуляцій, но „извѣстныя группы звуковъ должны были употребляться особенно часто не только однѣмъ и тѣмъ же, но и различными лицами самовольно (spontan), т. е. безъ воздействиія со стороны какого-бы то ни было желанія подражать, но по существу одинаковымъ образомъ. Только для звуковыхъ группъ, которыхъ вслѣдствіе естественныхъ условій пользовались особыннымъ пред-

почтеніемъ, можетъ выработать моторное чувство при отсутствіи какой-нибудь установившейся нормы. Въ такомъ привилегированомъ положеніи находились прежде всего чистые рефлекторные звуки, и въ примѣненіи къ нимъ должно было развиться прежде всего моторное чувство[“]. Такъ установилась, по мнѣнію Пауля, первоначальная звуковая норма человѣческой рѣчи.

Продолжаю хронологический обзоръ работы, посвященныхъ происхожденію языка. Египтологъ Карлъ Абель¹⁾ исходилъ изъ изученія древне-египетскаго языка. Онъ указывалъ на то, что въ древнѣйшую эпоху іероглифической письменности египетскій языкъ до такой степени кишѣлъ синонимами и омонимами, что для современнааго человѣка въ высшей степени затруднительно разобраться въ немъ. Такъ, по словамъ Абеля, корень *ab* имѣть въ древне-египетскомъ языкѣ восемь совершенно различныхъ значеній, и данныя такого же порядка я приводилъ выше изъ языковъ дикарей. Подобно этому, слово *apt* имѣть шесть значеній, *ba* тоже шесть, *uet* семь и т. п. Съ другой стороны, для одного и того же понятія имѣется множество различныхъ словъ: *rѣзать* передается 37 словами, *сильный* десятью и т. дал. Такъ что первоначально кажется, будто бы звуковое сочетаніе можетъ имѣть разнообразнѣйшія значенія, а съ другой стороны одинъ и тотъ же предметъ можетъ получить всевозможныя названія. Даже ограничивая это положеніе и не обобщая его на всю область египетскаго языка, приходится вмѣстѣ съ Абелемъ спросить: какимъ образомъ люди понимали другъ друга? Абель отвѣчасть на это указаніемъ на іероглифы. По его мнѣнію, эти послѣдніе представляли необходимое пособіе, безъ котораго египетскій граматей не могъ бы понять, какое собственно значеніе имѣть данное слово. Этотъ фактъ обнаруживается, по его мнѣнію, что люди глубокой древности вовсе не такъ легко понимали другъ друга, какъ мы, и должны были прибѣгать къ изображеніямъ, чтобы точно указать, какое именно значеніе имѣть данное слово. Выходить, такимъ образомъ (развивая взглядъ Абеля), будто бы древніе египтяне не разговаривали между собою, а только рисовали образы, связываемые со словами, что, разумѣется, противно здравому смыслу. Въ дѣйствительности же указываемые Абелемъ факты, конечно, не лишены значенія и въ специальномъ вопросѣ о происхожденіи языка, такъ какъ подчеркиваютъ яркость образнаго мышленія въ древнее время. Какъ мы уже видѣли выше, дикарямъ приходится для установленія взаимопониманія прибѣгать къ оживленной жестикуляції, иногда какъ бы рисовать жестами то, о чёмъ они говорять, и какъ переживаніе этой связи образа со словомъ, іероглифы могли бы до извѣстной

¹⁾ Ueber den Ursprung der Sprache. 2 изд. 1881. Горячимъ приверженцемъ Абеля выступилъ въ Дрезденскомъ литературномъ обществѣ въ 1883 году д-ръ Зееманъ, выпустившій въ 1884 году брошюру „Ueber den Ursprung der Sprache“.

степени имѣть отношеніе и къ началу человѣческой рѣчи. Но, конечно, не болѣе. Далѣе, Абель переходитъ къ своей излюбленной теоріи о первоначальномъ двойномъ противорѣчивомъ значеніи словъ, о чёмъ я уже упоминалъ въ своемъ мѣстѣ, и затѣмъ останавливается обстоятельно на извѣстномъ фактѣ отсутствія обобщающихъ словъ въ дикарскихъ языкахъ при множествѣ названій для видовъ отдѣльныхъ предметовъ. Въ своемъ называніи человѣкъ исходить изъ стремленія связывать звуки съ образами, и такъ возникаетъ языкъ, первоначально представлявшій хаосъ звуковыхъ сочетаній и неясныхъ, неотчетливыхъ понятій. Лишь постепенно человѣческий умъ внесъ порядокъ въ это множество случайныхъ и прихотливыхъ сочетаній звуковъ со значеніями, и такъ образовался языкъ. Какъ мы видимъ, въ теоріи Абеля есть здоровое основаніе; онъ опирается на несомнѣнныи факты дикарскихъ языковъ и изученіе древне-египетскаго языка, тдѣ связь образа со словомъ выражается еще очень очутительно. Несомнѣнѣнъ также первобытный хаосъ языка: обиліе значеній, связывавшихся съ однимъ звуковымъ сочетаніемъ, множество различныхъ звуковыхъ сочетаній для одного и того же понятія. Но какъ *возникъ* языкъ, обѣ этомъ Абель намъ не говорить ничего новаго.

Ничего оригинального не находимъ мы во взглядахъ Курти¹⁾, который представилъ эклектическую теорію происхожденія языка. Здѣсь есть и междометнія восклицанія, и clamor concomitans (крикъ, сопровождающій дѣятельность, а также извѣстная воспріятія предметовъ), и шумы, производимые извѣстными жестами (какъ напр., чавканье), и подражаніе звѣрінъмъ крикамъ или космическимъ шумамъ, и наконецъ символическая слова. О послѣднихъ Курти высказываетъ слѣдующимъ образомъ: „(первобытные люди) не ограничиваются простымъ воспроизведеніемъ звука, но приблигаютъ и къ символикѣ, какъ это часто наблюдается въ исторіи языковъ. Достаточно вспомнить обѣ образованіи множественного числа съ помощью повторенія слова и обѣ обозначеніи прошедшаго времени съ помощью повторенія глагола“.

Реньо²⁾, имя которого мнѣ уже нѣсколько разъ приходилось называть при изложеніи различныхъ взглядовъ на происхожденіе языка, полагаетъ, что „ни одинъ изъ главныхъ способовъ, съ помощью которыхъ теперь обогащается языкъ, не могъ быть примѣненъ къ его возникновенію“ (144). Наличность во всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ фонетическихъ двойниковъ (франц. *bel* и *beau*, *cheval* и *cavale*, латин. *vorto-verlo*, *optimus-optimus* и т. п.) заставляетъ предположить въ качествѣ одного изъ

¹⁾ Th. Curti. Die Entstehung der Sprache durch Nachahmung des Schalles. 1885. Die Sprachschöpfung. Versuch einer Embryologie der menschlichen Sprache. 1890. Cp. Giesswein. 153—154.

²⁾ P. Regnault. Origine et philosophie du langage ou principes de linguistique indo-européenne. 1888.

первыхъ факторовъ „фонетическую эволюцію“, являющуюся главной, если не единственной причиной, расхожденія діалектовъ одного и того же языка. Условія физиологического характера, которымъ опредѣляютъ эту фонетическую эволюцію, сводятся къ слѣдующимъ звуковымъ законамъ: 1. „Прогрессивное пріобрѣтеніе звуковъ, начиная съ периода чистаго и простого крика съ его рѣдкими модуляціями, и кончая артикулированнымъ языкомъ, которымъ человѣкъ обладаетъ съ историческихъ временъ, и фонетическое богатство котораго все возрастаетъ. 2. Вліяніе пріобрѣтенныхъ звуковъ другъ на друга, которое обнаруживается такъ очевидно и такъ обычно въ великомъ законѣ ассимиляціи. 3. Правильное и спонтаное измѣненіе звуковъ. 4. Исчезновеніе звуковъ вслѣдствіе стяженія и иныхъ процессовъ этого рода“. Переходя къ корнямъ, въ которыхъ Реньо спра-ведливо видить не что нибудь абсолютно существующее, но послѣднія, далѣе уже не разложимыя части слова, онъ сопоставляетъ множество вариантовъ корней въ различныхъ индоевропейскихъ языкахъ и приходить къ заключенію, что „число индоевропейскихъ корней, которые являются по отношенію другъ къ другу лишь фонетическими вариантами, гораздо значительнѣе, чѣмъ это предполагаютъ обыкновенно; они допускаютъ даже теоретическую возможность, что съ формальной точки зренія *всѣ* корни могутъ быть фонетически связаны одинъ съ другимъ или, другими словами, могутъ восходить путемъ *фонетической эволюціи* въ одному первоначальному типу“ (Regnaud. 178). Это положеніе заставляетъ Реньо ополчиться противъ одного изъ принциповъ современного языкознанія, которое построено на принципѣ безъисключительности фонетическихъ законовъ. Реньо объявляетъ этотъ принципъ не соотвѣтствующимъ научнымъ требованіямъ (antiscientifique 186), не замѣчая того, что онъ рискуетъ при отрицаніи его впасть въ полную произвольность, признавая любой корень происходящимъ отъ другого. Затѣмъ Реньо переходитъ отъ формальной стороны первобытныхъ корней къ ихъ значеніямъ“. Фонетическая измѣненія корней согласуются или имѣютъ тенденцію согласовываться съ измѣненіями значенія (*capr* и *champ* изъ лат. *capris*, *chasse* и *caisse* изъ *capsa*). Имѣя это въ виду, можно думать, какъ предполагаетъ Реньо (189), что и различія значеній не препятствуютъ предположить первоначальной связи всѣхъ индоевропейскихъ корней. Въ доказательство этого Реньо рассматриваетъ нѣсколько группъ значеній, которые представляютъ развитіе по ассоціаціи идей значеній въ направленіи отъ понятій свѣта и блеска къ понятіямъ познанія и пониманія и т. д. „Одна и та же форма и одна и та же идея могли породить двѣ серіи путемъ эволюціи фонетической стороны и значенія“ (210). Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что сопоставленія Реньо весьма произвольны: съ помощью такого метода можно доказать родство какихъ—угодно корней. Миѳологическая изслѣдованія Реньо представляютъ такіе же недостатки метода, но этотъ

ученый не лишенъ оригинальныхъ и плодотворныхъ идей, и одной изъ такихъ въ данномъ вопросѣ я считаю его указаніе на возможность возведенія къ небольшому числу первоначальныхъ корней и значеній всего запаса индоевропейскихъ словъ. Благодаря этому, численность первобытнаго словаря человѣчества принципіально очень уменьшается. Въ анализѣ происхожденія суффиксовъ, склоненія и происхожденія отдельныхъ частей рѣчи я не буду здѣсь углубляться вслѣдь за Реньо, тѣмъ болѣе, что онъ оперируетъ исключительно съ такой развитой группой языковъ, какой являются индоевропейскіе. Такъ, относительно первоначального индоевропейскаго глагола Реньо замѣчаетъ, что онъ означаетъ „модусъ субъекта (*un mode du sujet*) съ указаніемъ на время, когда совершается отношеніе тожества этого модуса и субъекта: настоящее время (санскр.) *bhârati* означаетъ носитель я“ (279). Изъ этого видно, что Реньо не признаетъ существованія отдельной группы глагольныхъ корней, но допускаетъ наличность корней существительныхъ. „Первоначально, говорить онъ, глаголь является чистымъ и простымъ соединеніемъ съ однимъ удареніемъ прилагательного и слова, которое оно опредѣляетъ“. И склоненіе, и спряженіе были изобрѣтены лишь одинъ разъ (289), и „этотъ принципъ предполагаетъ, что одна единственная серія первобытныхъ формъ дала начало путемъ аналогіи всѣмъ позднѣйшимъ подобнымъ формамъ“. Съ этой точки зрѣнія возстановленія первоначального единства разсмотрѣны и другія грамматическая образованія индоевропейскихъ языковъ. Такимъ образомъ, въ конечномъ выводѣ (328—330) Реньо изучаетъ происхожденіе не языка вообще, но именно индоевропейскаго языка. Этотъ послѣдній „не обязанъ своимъ происхожденіемъ ни откровенію, ни изобрѣтенію или соглашенію, ни подражанію. Онъ развился у человѣка, сначала какъ исключительно физиологический эффектъ, чуждый, какъ кажется, всякой идеи цѣлесообразности; привилегированное (избранное) существо, главнымъ качествомъ котораго онъ сдѣлался, не имѣло никакого представленія ни объ его зачаткахъ, ни о цѣли, для которой онъ долженъ быть употребляться. Со провождаемый жестомъ, языкъ естественнымъ образомъ (*naturelement*) приспособлялся къ обозначенію разрядовъ предметовъ, все болѣе разнообразныхъ и точно опредѣленныхъ, по мѣрѣ того, какъ физиологическая причина, которыми онъ былъ порождентъ, продолжали дѣйствовать и создавать различныя формы его; такимъ образомъ, образовалось средство взаимообщенія между людьми, орудіе, наиболѣе пригодное для развитія ихъ ума и сдѣлавшееся вмѣстѣ съ тѣмъ одновременно его зеркаломъ и образомъ“. Какъ мы видимъ, въ основаніе связи слова съ представлѣніемъ, основного источника происхожденія каждого языка, Реньо полагаетъ естественный жестъ показательнаго характера. Какъ отсюда развилась рѣчь, мы не узнаемъ изъ изложенія Реньо.

Въ 1891 году появилось первое изданіе извѣстной книги Габелента

„Языкоzнаніе“¹⁾). Габелентцъ любилъ точное знаніе и не вдавался слишкомъ много въ теоретические вопросы; отъ увлечения проблемой происхождения языка онъ и прямо предостерегалъ (304). Какъ представитель положительного знанія, онъ обратилъ особенное вниманіе на физическая условия, содѣйствовавшія образованію человѣческой рѣчи. Такъ, по его мнѣнію, очень важно, что вслѣдствіе хожденія на нижнихъ конечностяхъ человѣкъ обладаетъ, подобно сидящей и поющѣй птицѣ, свободной грудью, которая независима отъ ритма движенія верхнихъ конечностей при бѣганіи и летаніи. У человѣка, благодаря дѣятельности его рукъ, свободенъ и ротъ отъ выполненія тѣхъ обязанностей, которые совершаютъ у животныхъ пасть (тасканія тяжестей, обороны и т. п.). Наконецъ, и руки, освобожденныя отъ хожденія, получили возможность жестикулировать; а познавательное значеніе жестикуляціи, какъ уже было отмѣчено въ специальной главѣ, очень значительно. Освобожденіе рукъ дало человѣку и еще одну способность: онъ получиль возможность работать руками. „Ходить и при этомъ руками обрывать плоды или очищать ихъ отъ кожуры и въ то же время ртомъ говорить, пѣть, смеяться, кричать; какъ ниничто можно все это кажется, однако, даже обезьяна оказывается неспособной на это; изъ всѣхъ животныхъ представляется способнымъ совершать это развѣ только слонъ, котораго индузы называютъ обладателемъ руки. Не этимъ ли объясняется и умъ этого толстокожаго?“ (305). Послѣ этихъ замѣчаній, значенія которыхъ нельзя отрицать, Габелентцъ останавливается на связи между характеромъ пищи и интеллектуальнымъ развитиемъ существа: слишкомъ обремененный желудокъ не даетъ простора умственному развитію, употребленіе исключительно растительной пищи заставляетъ цѣлый день употреблять на юду, какъ это дѣлаетъ пасущаяся корова. Въ этомъ отношеніи всеядное животное поставлено въ болѣе выгодныя условія. Далѣе, Габелентцъ отмѣчаетъ и то несомнѣнное преимущество человѣка (впрочемъ, можетъ быть, приобрѣтенное имъ впослѣдствіи), что время его спариванія не ограничено извѣстнымъ періодомъ года; онъ указываетъ также на слабость и беспомощность человѣческихъ дѣтенышъ, которые требовали долгаго сожитія семьи и такимъ образомъ укрѣпляли ея связь.

Всѣ эти данныя имѣютъ несомнѣнное значеніе въ вопросѣ о происхождении языка, и Габелентцъ справедливо указываетъ на нихъ. Изъ семьи, какъ онъ развиваетъ дальше, въ параграфѣ, посвященномъ „психическимъ основаніямъ“, возникаютъ болѣе обширныя соціальные организаціи, во главѣ которыхъ стоять вожди. Ближайшими цѣлями такого сожитія служать защита во вѣтъ, взаимная помощь внутри общества. И здѣсь

1) Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse von Georg von der Gabelentz. 2 Auflage. 1901.

же возникает потребность во взаимосообщении. Воля играть на первых ступенях культурного развития человека гораздо более видную роль, чѣмъ рефлексія. „Съ чувствами удовольствія и неудовольствія были уже даны, собственно говоря, категоріи предложения, положительного и отрицательного; безразличіе, разумѣется, пребывало въ латентномъ состояніи“ (308). Справедливо указываетъ Габелентцъ на стремленіе человека на всѣхъ стадіяхъ культуры развлекаться и забавляться упражненіемъ своихъ силъ, на присущее ему пристрастіе къ подражанію, на сантвинический, легко возбудимый, темпераментъ нашихъ человѣческихъ предковъ. Можно сказать, не вдаваясь въ детальную характеристику взглядовъ этого ученаго, что антропологія предпосылки, необходимыя для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка, выяснены Габелентцомъ и оригинально, и съ достаточной опредѣленностью. Они, несомнѣнно, должны быть приняты во вниманіе при разрѣшеніи проблемы.

Уже упомянутый ранѣе Гисвейнъ¹⁾ выступилъ со своей теоріей происхожденія языка „съ одобреніемъ“ епископа Раабскаго. На его книгу лежитъ опредѣленная клерикальная печать, но печать клирикализма католического, умѣющаго приспособляться къ новымъ научнымъ вѣяніямъ и доказывать ихъ допустимость съ церковной точкой зреія, ихъ согласованность съ ученіями Библіи. Гисвейнъ подходитъ къ разрѣшенію проблемы съ большимъ историческимъ аппаратомъ, далеко не всегда соглашается съ самыми крайними клерикальными возврѣніями и оказывается даже до такой степени либераленъ, что по поводу теоріи Божественного откровенія языка, которая находила своихъ сторонниковъ еще въ 1888 г. (*V. De-Vit. Sull'origine e moltiplicazione del Lingua-ggio. Sienna. 1888*), заявляетъ о несолидарности съ ней современныхъ (католическихъ) богослововъ. Тѣмъ не менѣе, Гисвейнъ съ гораздо большей тонкостью, чѣмъ теологическіе ученые добра го старого времени, проводить все-таки опредѣленную тенденцію, которая обнаруживается и въ заключительномъ обращеніи къ читателю съ призывомъ восхвалить „Всемогущаго, который создалъ человека по своему образу и подобію и возвысилъ его надъ всѣми тварями земли“, и въ критикѣ отдѣльныхъ теорій происхожденія языка. Эта критика, по его словамъ, можетъ исходить лишь изъ убѣжденія, что человѣкъ сотворенъ Богомъ, какъ разумное существо, и что, стало быть, мысль предшествуетъ слову (*Giesswein. 165*). „Ибо, если бы человѣкъ безъ языка былъ лишенъ и разума, т. е. былъ бы неразуменъ, то ему самому сообщеніе дара рѣчи (*die Mittheilung der Sprache*) едва-ли оказалось бы какую-нибудь помошь, такъ какъ языкъ можетъ быть пригоденъ только мыслящему существу. Неразумный человѣкъ только безмысленно повто-

¹⁾ Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie von Dr. Alexander Giesswein. Freiburg. 1892.

ряль бы слова, какъ это дѣлаетъ попугай". Подобныя разсужденія, конечно, могутъ быть объяснены только полнымъ непониманіемъ эволюціонныхъ взглядовъ. Недоволенъ, разумѣется, Гисвейнъ, и теоріей „сопровождающаго крика“ (*clamor concomitans*), которая построена будто бы на довольно произвольномъ предположеніи, „такъ какъ остается совершенно невыясненнымъ, почему первобытный человѣкъ употреблялъ при одномъ дѣйствіи такой звукъ, при другомъ иной“. И здѣсь отрицаніе Гисвейна чрезмѣрно поспѣшно: не слѣдуетъ-ли, дѣйствительно, выяснить, какъ звукъ соотвѣтствуетъ усилию, прежде чѣмъ отрицать это соотвѣтствіе. Противъ звукоподражанія Гисвейнъ выступаетъ столь же рѣшительно. „Эта теорія, какъ и теорія рефлекторныхъ звуковъ, можетъ объяснить происхожденіе лишь части того сырого матеріала, изъ котораго сложенья человѣческій языкъ, но и это она можетъ сдѣлать не съ достаточной достовѣрностью“. Въ такомъ же духѣ и вся остальная критика Гисвейна, цѣнность которой совершенно ничтожна: автору просто надо заявить, что всѣ предложенія наукой точки зрѣнія неудовлетворительны. У него есть своя теорія, которая и получила „одобреніе“ такого авторитета въ психологическихъ вопросахъ, какъ епископъ Раабскій. Эта теорія сводится въ основномъ къ пункту къ слѣдующему: „Языкъ не можетъ быть произведеніемъ человѣкообразной обезьяны и обезьянovidнаго человѣка, или, вообще, неразумнаго существа; онъ является созданіемъ разумнаго существа, такъ какъ языкъ уже предполагаетъ мышеніе... Начало и развитіе языка было осуществлено, по крайней мѣрѣ, умственно одареннымъ и развитымъ существомъ“. Способность рѣчи лежитъ въ натурѣ человѣка, которому она была дана Творцомъ (Giesswein 211—212).

Въ неудержимый потокъ звукоподражаній бросаетъ насъ книга Клейнпауля¹⁾, въ высшей степени своеобразная и неудобочитаемая книга, где мысль просто тонетъ въ хаосѣ полемическихъ выпадовъ, остроумныхъ замѣчаній, примѣровъ изъ разныхъ языковъ и діалектовъ. Звукоподражаніе есть *ultima ratio* (201). „Занятіе праотца Адама въ раю“ заключалось въ томъ, что онъ отъ скуки, увѣряетъ Клейнпауль (335), началъ прислушиваться къ крикамъ животныхъ и подражать имъ, и давать имъ имена по ихъ крикамъ. Такъ и теперь въ незнакомомъ животномъ насъ прежде всего поражаютъ издаваемые имъ звуки. Тюленя нѣмецкій народъ назвалъ *Seehund* (морской собакой), потому что онъ лаетъ; одного изъ грызуновъ *Stachelschwein*, потому что онъ роется, какъ свинья (336). Обширный, охватывающій множество названий анализ Клейнпауля стремится установить звукоподражательную основу въ именахъ животныхъ, но методъ этого ученаго такъ несовершенъ, что и доводы его не представляются убѣдительными.

¹⁾ K. Kleinpaul. Das Stromgebiet der Sprache. Ursprung, Entwicklung und Physiologie, какъ второй томъ книги „Das Leben der Sprache und ihre Weltstellung“. Leipzig. 1893.

Никто не станет противоречить, что въ нашихъ современныхъ названийъ животнаго міра чрезвычайно много такихъ звукоподражательныхъ попытокъ, но отсюда еще нельзя сдѣлать выводъ, что *весь* первоначальный словарь первобытнаго человѣка сводился къ звукоподражательнымъ элементамъ. А безъ этого предположенія и самый вопросъ о происхожденіи языка не является рѣшенымъ. „Языкъ представляетъ своего рода искусство виртуоза, умѣніе, способность воспроизводить естественные звуки и съ ихъ помощью всѣ возможныя вещи, въ томъ числѣ и собственную персону, вызывать чудеснымъ образомъ передъ воображениемъ слушателя“ (397). Эти зовы, эти подражанія были, по мнѣнію Клейнпауля, первоначально лишь „акустическими сигналами“, которые были бѣдны идеальнымъ содержаніемъ и только заключали въ себѣ въ сжатой формѣ какое-нибудь сообщеніе (403). Отсюда будто бы и развились всѣ дальнѣйшія стадіи человѣческой рѣчи. Думаю, что нѣть надобности, послѣ вышеприведенного, углубляться въ разсмотрѣніе совершенно необоснованной психологически теоріи Клейнпауля. Обратимся къ тому, что дѣйствительно имѣть значеніе.

Я имѣю въ виду здѣсь англійскую книгу датскаго ученаго, профессора англійскаго языка въ Копенгагенскомъ университѣтѣ, Отто Есперсена, который въ 1894 году издалъ книгу „*Progress in language*“, вызвавшую оживленную полемику и горячія одобренія¹⁾. Авторъ стремится разсмотрѣть исторію англійскаго языка съ точки зрѣнія эволюціи, вообще, всякоаго языка. Это, можно сказать, та же точка зрѣнія, которая положена въ основаніе попытки Якова Гримма объяснить происхожденіе языка изъ данныхъ грамматического развитія германскихъ (по преимуществу) языковъ. Только Есперсенъ пошелъ самостоятельнымъ путемъ и достигъ совершенно иныхъ результатовъ, нежели его знаменитый предшественникъ, хотя и этотъ послѣдній указывалъ на большую полноту и обиліе грамматическихъ образованій старыхъ языковъ по сравненію съ новыми. Данная, на которую опирается датскій ученый, гораздо шире: онъ пользуется материаломъ, извлеченнымъ какъ изъ индоевропейскихъ языковъ, такъ и изъ китайскаго языка, нарѣчій группы банту и т. д. и пытается установить основные черты первобытной грамматики. „Простота въ лингвистическомъ строеніи, утверждаетъ Есперсенъ (75), является не первичнымъ, но уже вторичнымъ качествомъ, результатомъ развитія“. Самый вопросъ о происхожденіи языка сводится въ пониманіе Есперсена (338) къ возстановленію виѣшней и внутренней структуры извѣстнаго языка, болѣе примитивнаго, чѣмъ самый первобытный языкъ, доступный нашему наблюденію. При этомъ датскій ученый расчленяетъ свое изслѣдованіе на изученіе звуковой, грамматической и словарной сторонъ гипотетического пер-

¹⁾ Пользуюсь здѣсь вторымъ (безъ перемѣнъ) изданіемъ этой книги, вышедшими въ 1909 году: „*Progress in language with special reference to english*“.

вобытнаго языка. Что касается первой, то „мы повсюду замѣчаемъ тенденцію сдѣлать произношеніе болѣе легкимъ, чтобы уменьшить мускульное усиленіе; трудныя сочетанія звуковъ исчезаютъ, и остаются лишь такія, которыя не представляютъ трудности для произношенія“. Изъ наличности прищелкивающихъ и иныхъ неартикулированныхъ звуковъ въ дикарскихъ языкахъ (особенно, въ южно-африканскихъ) Есперсенъ дѣлаетъ выводъ, что „первобытные языки, вообще, были чрезвычайно богаты подобными трудными звуками“. Большое значеніе для выясненія началь человѣческой рѣчи Есперсенъ придаетъ музыкальности первобытнаго языка. Въ исторіи развитія отдѣльныхъ языковъ постоянно приходится наблюдать процессъ постепенной замѣны прежняго, первичнаго музыкальнаго ударенія немузыкальнымъ, экспираторнымъ. Съ ссылкой на очеркъ Г. Спенсера, посвященный происхожденію музыки, Есперсенъ переходитъ къ другому интереснѣйшему вопросу, бросающему яркій свѣтъ на происхожденіе языка. Это—мелодія предложенія (sentence-melody), которая зависитъ отъ дѣятельности интенсивныхъ чувствъ, вызывающей болѣе рѣзкія и быстрыя повышенія и пониженія голоса. „По мѣрѣ развитія цивилизациіи страсть или, по крайней мѣрѣ, выраженіе страсти становится умѣреннѣе, и мы можемъ отсюда заключить, что рѣчь некультурныхъ первобытныхъ людей отличалась большей страстью, чѣмъ наша, напоминая скорѣе всего музыку или пѣніе. И это заключеніе подтверждается тѣмъ, что намъ сообщаютъ о языкахъ нѣкоторыхъ дикарей въ наше время“ (342). Къ уже приведеннымъ мною выше, въ главѣ о языкахъ дикарей, примѣрамъ Есперсенъ присоединяетъ еще нѣсколько фактовъ: такъ, онъ отмѣчаетъ пѣвучесть въ произношеніи фразъ на Таити, музыкальность рѣчи, наблюдающуюся особенно въ языкахъ женщинъ въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ (Friendly Islands) и т. п. Отсюда вытекаетъ заключеніе, что существовало время, когда рѣчь была пѣніемъ, или, вѣрнѣе, когда эти дѣятельности еще не дифференцировались. Доказать это положеніе индуктивнымъ путемъ и съ полной достовѣрностью Есперсенъ, однако, не берется при современномъ положеніи лингвистическихъ знаній. Дѣйствительно, можно думать, что не только пѣніе легло въ основаніе человѣческой рѣчи, но, кажется, нельзя сомнѣваться въ томъ, что первоначальные звуки ея имѣли музыкальный характеръ, какъ крики птицъ, пѣніе обезьянъ и т. п. Есперсенъ отмѣчаетъ здѣсь же еще тотъ фактъ, что первоначальная слова длиннѣе современныхъ, что во всѣхъ языкахъ нашей группы наблюдается постоянное стремленіе къ сокращенію словъ (въ родѣ англ. *cab* изъ *cabriolet*, *bus* изъ *omnibus*), такъ что первобытные языки должны были состоять не изъ односложныхъ словъ, но „изъ очень длинныхъ словъ, содержащихъ нѣкоторые трудныя звуки, и скорѣе пѣвшіхся, нежели произносившихся“. Это обобщеніе, какъ я полагаю, нельзя распространить

на всю область первобытного языка, но наличие и такихъ длинныхъ словъ должна быть признана.

Очень интересны соображения Есперсена о грамматикѣ первобытного языка, которую онъ считаетъ возможнымъ возстановить на основаніи изученія общаго грамматического развитія языковъ. „Древніе языки имѣли по нѣскольку формъ тамъ, где современные довольствуются немногими; формы, которые имѣли первоначально различный характеръ, затѣмъ съ течениемъ времени смѣшались, или вслѣдствіе фонетической утери различій въ окончаніяхъ, или вслѣдствіе аналогического распространенія функционального употребленія какой-нибудь формы“. Такъ англ. *good* замѣняетъ теперь слѣдующій рядъ старо-англійскихъ образованій: *god*, *godne*, *gode*, *godum*, *godes*, *godre*, *godra*, *goda*, *godan*, *godena* или франц. *homme* соотвѣтствуетъ латинскимъ формамъ: *homo*, *hominem*, *homini*, *homine*. Другими словами, только основа имени съ различными предлогами явилась на смѣну развитой системы склоненія. И то же слѣдуетъ сказать про спряженіе. Лат. *cantavisset*, замѣчаетъ Есперсенъ (346), „соединяетъ въ одномъ нераздѣльномъ цѣломъ эквиваленты шести идей: 1) пѣніе, 2) plusquamperfectum, 3) неопределенную модификацію глагольной идеи, что мы называемъ сослагательнымъ наклоненіемъ, 4) дѣйствительный залогъ, 5) третье лицо и 6) единственное число“. Для такихъ образованій Есперсенъ предлагаетъ терминъ *синтезъ*. Онъ высказываетъ убѣжденіе, что вовсе не агглютинативное соединеніе первоначально независимыхъ частей породило формальныя образованія, но что эти части лишь постепенно приобрѣли свою независимость, такъ что первобытная рѣчь обладала *синтетичностью*. То, что въ позднѣйшую эпоху пріобрѣло раздѣльность, первоначально входило въ одно неразрѣшимое цѣлое. Для этого предложенія, которое было подготовлено, несомнѣнно, изученіемъ инкорпорирующихъ языковъ или нарѣчій типа банту, мы находимъ извѣстную поддержку въ указанныхъ дикарскихъ языкахъ, но, съ другой стороны, какое все-таки у насъ право видѣть въ системѣ австралійскихъ „аналитическихъ“ языковъ нѣчто позднѣйшее? Какъ ни проста морфологія австралійскихъ языковъ, она представляетъ извѣстныя построенія формъ съ помощью соединенія односложныхъ словъ съ окончаніями, и возвести къ единству эти двѣ системы морфологическихъ образованій, синтетическую (въ банту, въ сѣверо-американскихъ языкахъ и т. п.) и аналитическую (австралійскую), едва-ли оказывается возможнымъ. Одинъ изъ критиковъ Есперсена, южно-американскій ученый Ленцъ, отрица, вообще, *единство происхожденія* человѣческихъ языковъ, указываетъ на то, что въ языкахъ чилійскихъ туземцевъ слова-корни должны восходить къ первичнымъ образованіямъ¹⁾. И, если въ однихъ дикарскихъ языкахъ нельзѧ *думать* (какъ

¹⁾ „Ueber Ursprung und Entwicklung der Sprache“, von Rudolf Lenz in Santiago de Chile, въ журналь „Die neueren Sprachen“ VIII (изложено въ моей книжѣ „Слѣды корней-основъ въ славянскихъ языкахъ“, стр. 58—61).

утверждает Есперсенъ) просто о *ноєсі*, но можно думать о немъ лишь въ связи съ другими словами („дай мнѣ ножъ“ и т. п.), то въ другихъ языкахъ это оказывается совершенно возможнымъ. Не всегда „первоначальная языковая единица отличалась своей сложностью значенія“, какъ думаетъ датскій ученый. Съ нѣкоторыми же его замѣчаніями, конечно, нельзя не согласиться: изобиліе неправильностей и аномалий въ синтаксисѣ, словообразованіи, въ спряженіи и склоненіи, вѣроятно, дѣйствительно было присуще всѣмъ первобытнымъ языкамъ. Говорили, какъ сказалось, и, если собесѣдники поняли сказанное, цѣль говорившаго была достигнута. Итакъ, слова-предложенія (sentence-words) были, по Есперсену, первичными языковыми образованіями.

Нѣсколько страницъ своей книги Есперсенъ удѣлилъ вопросу о первоначальномъ словарѣ человѣка. Онъ исходить изъ свидѣтельствъ путешественниковъ (въ родѣ тѣхъ, которыхъ были приведены мною выше) относительно *конкретности* этого словаря. „Въ то время, какъ наши слова лучше приспособлены для выраженія отвлеченныхъ вещей и для точной передачи конкретныхъ, они оказываются сравнительно безцвѣтными. Напротивъ, старые слова обращались болѣе непосредственно къ чувствамъ; они были гораздо болѣе убѣдительны, болѣе живописны и художественны; въ то время, какъ теперь, желая изобразить какую-нибудь вещь, мы бываемъ вынуждены нагромождать одно слово на другое, старые конкретные слова ставили ее передъ воображеніемъ слушателя, какъ одно неразрѣшимое цѣлое; следовательно, они были болѣе приспособлены для поэтическихъ цѣлей“. Первобытный языкъ, вообще, былъ близокъ къ поэзіи. „Первобытный человѣкъ, уже въ силу природы своего языка, былъ вынужденъ постоянно пользоваться словами и фразами въ образномъ смыслѣ; онъ по необходимости выражалъ свои мысли языкомъ поэзіи“. Подводя итоги своимъ возврѣніямъ на первичный языкъ, Есперсенъ полагаетъ, что первобытный человѣкъ былъ чрезвычайно говорливъ. Въ фонетическомъ отношеніи его языкъ былъ чрезвычайно богатъ, въ смыслѣ содержанія очень бѣденъ. „Первобытные ораторы были вовсе не молчаливыми и сдержанными существами, но юными людьми, весело болтающими и не слишкомъ взвѣшивающими каждое свое слово. Они и не придавали слишкомъ много значения каждому слогу. Не все-ли равно, однимъ больше или меньше! Такимъ образомъ, первичный языкъ служилъ цѣлямъ выраженія эмоцій. Какая же изъ этихъ послѣднихъ обладали большей способностью создать зародыши языка? Любовь или голодъ, спрашиваетъ Есперсенъ и отвѣчаетъ на послѣднюю часть дилеммы отрицательно: голодъ и связанные съ нимъ чувства могли вызывать развѣ коротенькия восклицанія. Повидимому, не будучи знакомъ съ трудомъ Заборовскаго, Есперсенъ высказываетъ ту же плодотворную мысль; въ происхожденіи языка важную роль надо приписать любви, стремленію очаро-

вать другой полъ, которому Дарвинъ приписываетъ такое выдающееся значение въ образованіи человѣческой рѣчи. Такимъ образомъ, „источникомъ языка является не мрачная серьезность, но веселая забава и юная беспечность: въ первобытномъ языкѣ я слышу веселые крики ликованія, когда юноши и девушки соперничали другъ съ другомъ въ стремлениі привлечь вниманіе другого пола, когда каждый пѣлъ свою самую веселую пѣсню и плясалъ лучшую пляску, чтобы заставить пару милыхъ глазъ кидать восторженные взгляды въ свою сторону“. Человѣкъ сначала пѣлъ, потомъ стала говорить; звукоподражаніе, восклицанія и т. п. играютъ извѣстную роль въ образованіи языка, но не доминируютъ.

Преобладаніе принадлежитъ пѣснѣ, изъ которой лишь впослѣдствіи выдѣлились слова. Такова, въ общихъ чертахъ, интересная и оригинальная теорія Есперсена. Тотъ или другой языкъ могъ, дѣйствительно, возникнуть по указанному имъ способу, но обобщеніе этой „пѣсни—рѣчи“ на всю область происхожденія языка мнѣ кажется недопустимымъ: вѣдь пѣсня въ разгарѣ полового экстаза не связывается съ сознаніемъ; она является только разряженіемъ страсти въ звукахъ, да и содержаніе пѣсни было бы слишкомъ ограничено, не говоря уже о томъ, что половой инстинктъ былъ первоначально связанъ лишь съ опредѣленнымъ временемъ года. Замирала страсть, и съ ней утихала рѣч! Я думаю, что лишь обычныя, постоянныя и спокойныя состоянія человѣка могли породить столь прочныя ассоціаціи между звуками и содержаніемъ сознанія, которые легли въ основаніе рѣчи и создали стремленіе сообщать въ понятныхъ и для другихъ лицъ той же среды звукахъ объ этомъ содержаніи интеллекта. Но пѣсня въ періодъ полового влеченія подготовила органы рѣчи.

Послѣ Есперсена слѣдуетъ обратить вниманіе на появившуюся два года спустя статью извѣстнаго французскаго ученаго, В. Анри¹⁾, который высказалъ убѣжденіе, что проблема происхожденія языка не относится къ лингвистикѣ, но является однимъ изъ вопросовъ психо-физіологии, и что „языкъ не есть дѣло человѣка, но представляетъ продуктъ природы“. Какъ ни категоричны эти положенія, въ нихъ не заключается, по существу, ничего новаго, чего бы уже не говорили изслѣдователи, считавшіе вопросъ о происхожденіи языка одной изъ важнѣйшихъ проблемъ исторіи человѣческой культуры: вѣдь, никто же не отрицалъ, что человѣкъ долженъ быть обладать для того, чтобы говорить, физіологической способностью для этого и соответствующимъ цѣли развитіемъ психическихъ особенностей. И вопросъ заключается въ томъ, какъ именно сочетаніе этихъ способностей вызвало рѣчъ, какъ, говоря словами самого названнаго ученаго, установить тѣ переходныя стадіи, которыя лежать между первона-

¹⁾ *Antinomies linguistiques par Victor Henry. Bibliothèque de la faculté des lettres de Paris. II. 1896.*

чальнымъ рефлекторнымъ крикомъ животнаго и обдуманнымъ актомъ человѣческой рѣчи. Въ этихъ предѣлахъ Анри изучаетъ вопросъ. Онъ начинаетъ съ рефлекторного крика, останавливаясь на психологіи птичьаго пѣнія. Этотъ безсознательный, непроизвольный крикъ представляетъ собою лишь разряженіе энергіи, подобно рѣчамъ безумно болтающаго пьянааго или крикамъ ведомаго на казнь, вовсе не расчитывающаго своеи мольбой смягчить своихъ палачей, или стонамъ человѣка, кричащаго отъ внезапнаго страха, или кудахтанью курицы и т. п. Все это составляетъ, помнѣнію В. Анри, одинъ разрядъ явлений и относится исключительно къ области физиологии. Съ такимъ обобщеніемъ едва-ли возможно согласиться: если въ состояніи возбужденія человѣкъ много говоритъ, то можно, конечно, найти нѣчто общее между этимъ его внутреннимъ побужденіемъ говорить и тѣмъ инстинктомъ, который заставляетъ кричать звѣря, но самое выраженіе этихъ стремленій будетъ совершенно различно, а въ рѣчи человѣка мы находимъ именно опредѣленное выраженіе, продуктъ творчества и процессъ творчества одновременно, и смышивать всѣ эти явленія въ одну группу значить вопросъ не разрѣшать, а запутывать.

Послѣ этого В. Анри переходить къ языку-сигналу, „т. е. къ такимъ крикамъ, которые понимаются иными существами того же вида. Все происходитъ такъ, какъ будто бы животное испустило свои крики сознательно, съ намѣреніемъ вызвать ими извѣстныя послѣдствія“. Чѣмъ, по существу, отличается такой крикъ отъ первой группы явлений, это изъ изложенія Анри не видно; вѣдь мы можемъ понять, почему кричать обезьяна, увидавшая льва, или ворона при видѣ ястреба, хотя ихъ крики не были вовсе „сигналомъ“. Чѣмъ не менѣе (по какой-то необъяснимой причинѣ), „не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что вслѣдствіе всецѣло механическаго процесса языкъ сигналовъ оказываетъ могущественное воздействиѣ на развитіе центральнаго нервнаго аппарата и, въ свою очередь, подъ вліяніемъ этого послѣдняго процесса, самъ все лучше и лучше приспособляется къ своей функции; и все это совершается такъ точно, какъ если бы съ теченіемъ времени къ развитію его была приложена сознательная воля“. Но какъ все это происходитъ, остается совсѣмъ непонятно изъ изложенія французскаго лингвиста. Почему „языкъ сигналовъ“ остался на низшей стадіи развитія у животнаго и привелъ къ сознательной рѣчи у человѣка, какое значеніе имѣть указаніе на то, что процессъ развитія этого языка совершается такъ, какъ будто здѣсь было сознаніе, и т. п.? Позитивизмъ Анри оказывается уже черезъ чурь поверхностнымъ. Въ концѣ то концовъ и ему приходится прибѣгнуть къ гипотезѣ. У животнаго, справедливо утверждаетъ В. Анри, „языкъ“ не является толмачемъ мысли, но человѣкъ преступилъ таинственную границу, отдѣляющую безсознательный крикъ отъ сознательной рѣчи. „Благодаря памяти, болѣе одаренной и болѣе координированной, ему удалось вспомнить

ощущение вчерашняго дня, съ ясностью и живостью, неравными, но сравнимыми (за исключениемъ степени интенсивности) съ этимъ самымъ ощущениемъ, достаточными для того, чтобы вызвать звуковой рефлексъ (*l'émission d'un réflexe vocal*): такъ мы можемъ представить себѣ происхождение значущаго языка. Слушатель могъ сначала ошибаться, думать о виѣшнемъ проявленіи дѣйствительного чувства, но его собственное сознаніе, которое доставляло ему, въ свою очередь, разнообразные типы дѣйствительныхъ и пережитыхъ чувствъ, научило его разбираться въ актахъ сознанія, обнаруживаемыхъ ему подобными, и такъ какъ онъ самъ вспоминалъ при случаѣ о своихъ исчезнувшихъ чувствахъ, то семантическое воспитаніе двухъ субъектовъ было непрерывно и взаимно. И такъ дѣло шло постепенно все впередъ, хотя на развитіе потребовалось не мало человѣческихъ поколѣній. Въ то время, какъ память создавала языкъ, языкъ, со своей стороны, придавалъ точность (фиксировалъ) памяти, и такъ въ человѣкѣ возрастала область сознательного, и развивалось его чувство или, если угодно, иллюзія тожества и непрерывности *я* и т. д. Итакъ, сначала крикъ рефлекторный, потомъ крикъ, понимаемый средой и вызывающій въ самомъ испускающемъ его субъектѣ смутное сознаніе того, что его понимаютъ, и наконецъ крикъ, какъ выраженіе вспомнившагося ощущенія. Такъ представляеть себѣ разрѣшеніе проблемы В. Анри. Онъ не останавливается надъ вопросомъ о томъ, почему *рефлекторный* же крикъ, хотя бы вызванный не самымъ чувствомъ, но живымъ воспоминаніемъ о немъ, былъ *осознанъ* человѣкомъ, а вѣдь въ этомъ то проникновеніе въ человѣческое сознаніе рефлекторного или иного крика и заключается вся сущность проблемы. Можетъ ли подвергнуться такой эволюціи именно рефлекторный крикъ, надъ этимъ, какъ видимъ, французскій ученый не задумывается. Между тѣмъ, такая эволюція, до известной степени наблюдаемая въ возникновеніи дѣтской рѣчи объясняется воздействиемъ на психику ребенка со стороны говорящей среды, которая помогаетъ превращенію рефлекторного крика въ значущій, *указательный*. Я полагаю, что важнѣйшая психологическая проблема созданія языка не только не выяснена Анри, но и просто не замѣчена имъ. И всякая подобная теорія, исходящая изъ крика, созданного сильнымъ душевнымъ возбужденіемъ, рискуетъ наткнуться на тѣ же затрудненія.

Большую жизнеспособность обнаруживаетъ теорія звукоподражанія. Въ 1900 году она была вновь поднята нѣмецкимъ ученымъ Фрейденбергеромъ¹⁾, который въ небольшой популярной книжкѣ о „естественной истории языка“ коснулся вопроса и о происхождении человѣческой рѣчи. Авторъ считается съ тѣми возраженіями, которыя дѣлались этой теоріи, а прежде всего съ фактами разнообразія „звукоподражательныхъ“ назва-

¹⁾ M. Freudberger. Beiträge zur Naturgeschichte der Sprache. 1900.

ній для одного и того же животного. Онъ самъ отмѣчаетъ, что крики курицы и пѣтуха передаются на самые различные лады: серб. *кукеруку*, англ. *took-took-tkoo*, китайск. *kiao-kiao*, манджур. *dchor-dchor*. Но это расхожденіе заставляетъ Фрейденбергера придать только нѣсколько модифицированную форму теоріи. „Въ самомъ началѣ рѣчи процессъ не могъ быть одинаковыиъ, такъ какъ соперничавшія звуковыя образованія должны были обладать приблизительно одинаковой ассоціаціонной способностью. Здѣсь всегда боролись за первенство два или нѣсколько словъ, изъ которыхъ сначала каждое было понятно только своему создателю, а другимъ людямъ той же среды представлялось сначала чѣмъ-то безъмысленнымъ“. Такая борьба—прибавляю я—могла, дѣйствительно происходить, но только уже въ то время, когда рѣчь возникла, т. е. когда человѣкъ, „образующій слово“ (der Bildner), сознавалъ, что это *его* слово имѣть значеніе, и стремился передать это послѣднее своей средѣ. Роль личности въ образованіи первобытныхъ словарей не подлежитъ сомнѣнію, но тотъ процессъ, о которомъ говорить Фрейденбергеръ, не могъ восходить къ первоначальнымъ основамъ языка. Однако совершенно справедливо названный ученый подчеркиваетъ вліяніе одного говорящаго лица на другихъ. „Уже въ доисторическое время особенно привилегированному организму (dem bevorzugten Organismus) удавалось навязать свою манеру рѣчи подчиненнымъ. Дѣйствительно, словарь хранить ясные слѣды того, что находившіеся въ особо благопріятныхъ условіяхъ роды, состоянія, возрастные классы придавали языку извѣстный отпечатокъ, что онъ навязывался мужемъ, добившимся господствующаго положенія въ семье, своей порабощенной женѣ, зрѣльмъ возрастомъ—дѣтямъ, городскимъ жителемъ—селянину, побѣдившимъ господствующимъ сословіемъ подчиненному и вмѣстѣ съ тѣмъ поставленному въ духовную зависимость отъ него простому люду“ (144). При такой постановкѣ вопроса, которая исходить изъ положительныхъ данныхъ антропологии, самая проблема звукоподражательного происхожденія языка получаетъ совсѣмъ иной характеръ, нежели въ то простодушное время, когда всѣхъ людей одинаково заставляли передразнивать звуки природы и крики животныхъ. Въ современномъ пониманіи этой проблемы звукоподражаніе является такимъ образомъ отчасти стимуломъ для созданія человѣкомъ своихъ собственныхъ словъ, отчасти материаломъ для языка. Минуя психологическую сторону вопроса, т. е. не разсуждая о томъ, какъ стало возможно самое подражаніе, мы можемъ, какъ мнѣ кажется, признать извѣстное основаніе за теоріей Фрейденбергера, согласившись съ нимъ, что въ языкѣ „сырымъ материаломъ“ были подражанія естественнымъ звукамъ. Но вслѣдствіе индивидуальныхъ различій въ способности какъ воспринимать, такъ и воспроизводить эти послѣдніе имѣлись въ наличности все необходимыя условія для безграничного

наростанія синоніміческихъ корней (ср. теорію Марти). Сложеніе словъ, метафоры и тому подобные процессы создали позже весь словарь человѣка.

Лишь вскользь я упомяну о книгѣ Маутнера¹⁾, который въ своемъ дилетантскомъ изложениіи всевозможныхъ вопросовъ психологіи рѣчи конснулся и происхожденія языка. Какъ далекъ онъ отъ пониманія самаго существа рѣчи, какъ творчества, видно изъ слѣдующихъ его замѣчаній: „Языкъ представляетъ собою *ничто* среди людей, цѣль его—сообщеніе. Но само по себѣ сообщеніе не можетъ быть цѣлью; оно оказывается тако-вой лишь у болтуновъ. Мы всегда желаемъ,—хотя бы даже часто косвенно и безсознательно,—повліять на мышленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на волю другого человѣка соотвѣтственно съ нашей мыслью и волей, т. е. согласно нашимъ интересамъ. Такимъ образомъ, цѣлью языка является оказаніе воздействиія, направленіе воли и мысли, или, пользуясь моднымъ словомъ, внущеніе“ (461). Минъ нечего доказывать здѣсь, что языкъ, какъ творчество, не преслѣдуется никакой цѣли, и что сознаніе цѣлесообразности этого процесса является лишь вторичнымъ фактромъ.

Гораздо интереснѣе попытка американского ученаго, Фреда Ньютона Скотта, который въ годичномъ собраніи Американскаго общества для изученія новыхъ языковъ произнесъ рѣчь „Происхожденіе языка“²⁾. Въ виду малодоступности этой брошюры, которую авторъ любезно доставилъ мнѣ въ 1908 году, и оригинальности взгляда ея автора я считаю полезнымъ остановиться на ней нѣсколько подробнѣе. Проф. Скоттъ исходитъ изъ раздѣленія всѣхъ движеній тѣла на двѣ группы: 1) движениія, которыя полезны для сохраненія жизни (*life-serving movements*), и 2) движениія, которыя служать для выраженія и сообщенія (*expressive-communicative movements*). Простѣйшие организмы знаютъ только первую группу движеній, которая нѣсколько дифференцируется у болѣе сложныхъ организмовъ, раздѣляясь на скрытыя и открытые. Къ скрытымъ относятся движенія красныхъ и бѣлыхъ шариковъ въ крови, сердцебиеніе, выдѣленіе желчи и т. п.; къ открытымъ тѣ движенія ногъ, головы, всего туловища, которыя необходимы для полученія пищи, спасенія отъ непріятелей и т. п. „Въ первую категорію, говорить Скоттъ, входятъ движенія, содѣйствующія индивидуальной жизни; вторая охватываетъ такія движенія, цѣлью которыхъ служить первоначально обнаружение жизни и представление другимъ возможности судить о ней, т. е. тѣ, которыя должны выражать и сообщать. Примѣрами такихъ движеній являются оскаливаніе зубовъ и выпучивание глазъ въ бѣшенствѣ, сжима-

¹⁾ *Fritz Mauthner. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. II Band. Zur Sprachwissenschaft. 1901.*

²⁾ *Fred Newton Scott. The Genesis of Speech. Reprinted from the Publications of the Modern Language Association of America. XXIII. 4. The modern language Association of America. 1908.*

ніє губъ въ состоянії рѣшимости, пожатіе плечами при сомнѣнії" и т. д. Вообще, сюда относятся явленія жестикуляціи, мимики и гримасы, а въ концѣ концовъ и самая рѣчь. Такого рода движенія не являются непремѣнными условиемъ сохраненія жизни въ организмѣ, какъ явленія перваго рода. По существу, однако, обѣ группы тѣсно связаны между собой, и Скоттъ отстаивает ту точку зрења, которую проводить въ своемъ сочиненіи о выраженіи ощущеній Ч. Дарвинъ. Въ конечномъ изслѣдованіи, выразительныи движенія восходятъ къ жизнехранящимъ (*life-servings*). Но между ними остается все-таки одна существенная разница, которая въ глазахъ Скотта представляется особенно важной въ смыслѣ разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка. Выразительныи движенія „перестали поддерживать существованіе изолированного индивидуума для того, чтобы имѣть возможность поддерживать общее существованіе“. Такимъ образомъ, передъ изслѣдователемъ встаетъ вопросъ: „по какимъ этапамъ первоначально жизнеохранящія функции перешли въ функции сохраненія общества“? Какъ видно изъ самой постановки вопроса, Скоттъ начинаетъ изученіе выразительныхъ движеній человѣка съ изслѣдованія далекихъ до-человѣческихъ отношеній, примыкая въ этомъ отношеніи къ міровоззрѣнію Ч. Дарвина, Гексли и др. Но оригиналлой мыслью мнѣ представляется пониманіе выразительныхъ движеній, какъ такой группы явленій, назначеніе которой состоять въ сохраненіи общества. Для этого Скотту приходится предположить у человѣка соціальный инстинктъ (*the social instinct*), который заставляетъ его оказывать товарищамъ услуги съ цѣлью поддерживать существованіе общества. Мы стоимъ, такимъ образомъ, передъ самымъ острѣемъ проблемы. „Какъ эти индивидуальные и соціальные мотивы участвовали въ процессѣ превращенія жизнехранящаго акта въ настоящее сообщеніе, можетъ быть показано самымъ простымъ образомъ на примѣрѣ происхожденія одного соціального жеста (*a familiar gesture*). Беру въ качествѣ примѣра жестъ или положеніе показыванія. Въ своей первоначальной формѣ этотъ жестъ оказывается дѣйствіемъ хватанія или доставанія. Его первоначальная цѣль пріобрѣтеніе пищи. Но это же движение служить какъ познавательный знакъ (*a recognition sign*), открывашій другимъ присутствіе и, до известной степени, тожество индивидуума, совершающаго этотъ жестъ и обнаруживающаго въ немъ свое состояніе голода. Если бы всегда имѣлось изобиліе пищи, то этотъ актъ никогда бы не поднялся надъ своимъ первоначальнымъ уровнемъ. Всякій разъ, когда индивидуумъ испытывалъ бы чувство голода, ему стоило бы только протянуть руку къ пище и взять ее. Но источникъ пищи, особенно для существъ очень молодыхъ, не всегда бываетъ достаточно изобилентъ. Рука протягивается напрасно. Желудокъ остается пустъ, и безцѣльный жестъ хватанія является только знакомъ возрастающаго голода“. Скоттъ береть въ качествѣ примѣра специальный случай пониманія, возникающаго между

матерью и дитятей. Въ этихъ отношеніяхъ „хватаніе принимаетъ сокращенную форму движенія руки, сопровождающагося выжидательнымъ взоромъ, который дитя бросаетъ на свою мать. Жизнесохраниющее движение хватанія переходитъ въ жестъ указыванія“. Какъ мы видимъ изъ выше-приведенной цитаты, американскій ученый совершенно минуетъ въ своемъ изложеніи весьма важный вопросъ о томъ, почему совершенно такая же эволюція не привела къ возникновенію рѣчи и въ животномъ мірѣ? Но, если возможно миновать этотъ вопросъ съ помощью молчаливаго предположенія высшей духовной природы человѣка, то процессъ эволюціи можетъ, дѣйствительно, привести къ взаимопониманію извѣстныхъ жестовъ. Передъ нами въ измѣненномъ видѣ, согласованномъ съ новѣйшими взглядами психологіи, теорія Руссо о созданіи языка въ силу какого-то безмолвнаго договора между матерью и дитятей. Правда, психологія дѣтскаго возраста едва-ли даетъ основанія для подобныхъ обобщеній. Однако, въ средѣ взрослыхъ, одинаково настроенныхъ первобытныхъ людей переходъ „индивидуального жизне-сохраниющаго движенія хватанія, благодаря реакціи на него и кооперациі (through response and coöperation), въ соціализированной символической жестъ показыванія“ представляется психологически допустимымъ. Какъ мы знаемъ, до этого движенія доходить и обезьяны при нѣкоторой дрессировкѣ. Отсюда, по мнѣнію Скотта, уже не трудно перейти къ языку. „Если языкъ представляетъ собою движеніе голосовыхъ органовъ, аналогичное движеніямъ головы, рукъ, лица и т. п., то основными проблемами его происхожденія являются слѣдующія: 1) Какой жизнесохраниющей функциї потомкомъ или позднѣйшимъ развитиемъ оказывается языкъ? 2) По какимъ этапамъ первоначальная жизнесохраниющая функция превратилась въ функцию выраженія и сообщенія?“ На первый изъ этихъ вопросовъ Скоттъ отвѣчаетъ такъ: рѣчь произошла изъ дыханія, изъ движений мускуловъ грудной клѣтки и диафрагмы. Что же касается этаповъ превращенія дыханія въ рѣчъ, то Скоттъ указываетъ на различные способы дыханія, отмѣчаемые біологами, и на присущее человѣку дыханіе легкими, которое вызываетъ естественный характерный звукъ. „Въ началѣ человѣческой жизни звукъ нормального дыханія служилъ, несомнѣнно, познавательнымъ актомъ. Онъ обнаруживалъ присутствіе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вѣроятно, тожество лица, производившаго его. Нѣть никакой необходимости представлять себѣ этотъ звукъ громкимъ. Слухъ первобытнаго человѣка былъ гораздо острѣе нашего. Незамѣтные, едва слышные звуки имѣли больше значенія, когда жизнь была борьбой *à outrance*. Даже для нась, надѣленныхъ тупыми чувствами, слабые шумы связываются въ минуты сильнаго напряженія съ особеннымъ значеніемъ“ (Scott. 13). Скоттъ распространяется относительно того, что и для нась иногда самые слабые звуки представляютъ громадное значеніе, и продолжаетъ: „Измѣненія въ характерѣ дыханія и въ громкости звуковъ могутъ служить выраженіемъ

физическихъ условій или соціального положенія и сообщать другимъ о наличности такихъ условій или положеній, главнымъ образомъ матери о ребенкѣ и обратно. Намъ предстоитъ далѣе разсмотретьъ, какъ эти движения и звуки продолжали видоизмѣняться и, особенно, какъ увеличилось число этихъ звуковъ". Въ эту область изслѣдованія я не могу, къ сожалѣнію, углубляться вслѣдъ за Скоттомъ. Какъ мы видимъ, передъ нами оригинальная теорія происхожденія языка изъ дыханія,—оригинальная, но едва ли убѣдительная. Она построена на совершенно произвольномъ предположеніи, что дыханіе обладаетъ въ инстинктивномъ (вѣдь только о немъ и можетъ быть рѣчь первоначально) пониманіи познавательнымъ значеніемъ, что между характеромъ дыханія и состояніемъ организма затѣмъ устанавливаетсяrudimentарнымъ сознаніемъ человѣка—звѣря особая связь, полагающая начало сообщенію: сообщенію съ помощью дыханія. Къ коллекціи первоосновъ языка, междометій, звукоподражаній, сопровождающихъ криковъ, Скоттъ присоединяетъ, такимъ образомъ, еще и дыханіе, какъ средство познанія и сообщенія.

Для изложения взглядовъ Вундта я выбираю послѣднее, т. е. *третье* переработанное изданіе его книги о языке, появившееся въ 1912 году¹⁾. Оставляя въ сторонѣ данную Вундтомъ критику теорій о происхожденіи языка, которая онъ раздѣляетъ на теоріи изобрѣтенія, подражанія, естественныхъ звуковъ и чудеснаго откровенія, я сосредоточу вниманіе на собственныхъ взглядахъ знаменитаго философа. По мнѣнію Вундта, названныя выше четыре теоріи должны быть противопоставлены эволюціонному ученію. „Ибо хотя и въ нихъ придается значение извѣстнымъ дѣйствительнымъ или мнимымъ эволюціоннымъ моментамъ, однако все же о нихъ всѣхъ можно сказать, что имъ чужда основная мысль настоящей эволюціонной теоріи. Эта мысль должна была бы заключаться и здѣсь въ томъ, чтобы было предположено не всякое возможное или даже любымъ образомъ направленное развитіе, благодаря которому могъ бы будто бы возникнуть языкъ, но въ томъ, чтобы за единственное основаніе изученія были приняты, съ одной стороны, фактическое развитіе языка, поскольку оно доступно нашему наблюденію при изученіи измѣнений существующихъ языковъ и возникновенія новыхъ языковыхъ формъ изъ прежнихъ, а съ другой стороны, тѣ особенности человѣческаго сознанія, которая представляетъ это послѣднее на самыхъ низкихъ ступеняхъ, непосредственно доступныхъ нашему наблюденію“.

Этимъ требованіямъ не удовлетворяетъ, по мнѣнію Вундта, ни одна изъ существующихъ теорій, хотя, какъ мы уже видѣли, именно на нихъ построены напримѣръ возврѣнія Г. Пауля. Быть можетъ, они и просто

¹⁾ Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte von Wilhelm Wundt. Zweiter Band. Die Sprache. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Zweiter Teil. Leipzig. 1912.

невыполнимы въ данномъ случаѣ? Напримѣръ, на одинъ изъ вопросовъ, которому было посвящено съ исторіи этой проблемы столько упорной мысли: что предшествуетъ одно другому, разумъ языку или языкъ разуму, Вундтъ даетъ слѣдующій отвѣтъ: „Такъ какъ человѣческій языкъ и человѣческое мышеніе всегда и повсюду развиваются одновременно, то можно уже заранѣе сказать, что постановка такого вопроса ошибочна. Развитіе человѣческаго сознанія съ необходимостью включаетъ въ себя развитіе выразительныхъ движеній, жестовъ, языка, и на всякой изъ стадій развитія представленіе, чувствованіе и мышеніе выражаются въ совершенно адекватной (соответствующей) ей формѣ: это выраженіе само относится къ той психологической функциї, воспринимаемымъ признакомъ которой оно служить, и оно и не опережаетъ ея, и не отсту-паеть отъ нея. Поэтому, съ того мгновенія, когда появляется языкъ, онъ служить объективной мѣрой для обнаруживающагося въ немъ развитія мышленія, но онъ является таковымъ лишь потому, что самъ оказывается интегрирующимъ составнымъ элементомъ функциї мышленія. Далѣе, какъ продуктъ развитія, языкъ долженъ совершенно такъ же, какъ соответствующая ему форма мышленія, быть обусловленъ предшествовавшими духовными развитіями; онъ не можетъ возникнуть сразу и безъ подготовки. Но именно поэтому не представляется абсолютной граница между языкомъ и естественнымъ (первобытнымъ) состояніемъ лишеннымъ языка. Наблю-
датель, которому было бы дано прослѣдить лично развитіе языка со ступени на ступень, никогда не былъ бы въ состояніи сказать: здѣсь, въ это мгно-
веніе, начинается языкъ, а тамъ, въ непосредственно предшествовавшій
моментъ, языка еще не было. Какъ выразительное движеніе, какимъ
языкъ остается на всѣхъ стадіяхъ своего развитія, онъ выдѣляется съ
полной постепенностью изъ совокупности выразительныхъ движеній, ко-
торыя, вообще, служать признакомъ одухотворенности... Тамъ, гдѣ суще-
ствуетъ какая-нибудь связь психическихъ явленій, и стало быть сознаніе,
тамъ имѣются и движенія, обнаруживающія во внѣ эти явленія. Эти внѣшніе
признаки психической жизни сопровождаются сознаніе со ступени на сту-
пень, и естественно, они совершенствуются вмѣстѣ съ содержаніемъ, ко-
торому они подчиняются. И тѣмъ не менѣе, для насъ существуетъ про-
пастъ между сознаніемъ даже самой низшей человѣческой расы и созна-
ніемъ совершиеннѣйшаго животнаго, и мы не въ состояніи заполнить эту
пропастъ никакимъ непосредственнымъ наблюденіемъ. Однако, эта про-
пастъ не такова, чтобы развитія, начинающіяся у человѣка, уже не были
подготовлены у животнаго въ видѣ различныхъ предварительныхъ стадій.
То, что въ этомъ отношеніи можно сказать вообще о психическихъ функ-
ціяхъ, примѣнно и къ выразительнымъ движеніямъ, которыхъ относятся
къ этимъ функциямъ, какъ ихъ естественные дополненія, и потому языкъ
представляетъ собою не что иное, какъ такое устройство (Gestaltung) вы-

разительныхъ движенийъ, которое соотвѣтствуетъ эволюціонной стадіи человѣческаго сознанія. Это послѣднее такъ же точно не можетъ быть мыслимо безъ языка, какъ языкъ не можетъ быть мыслимъ безъ человѣческаго сознанія. Поэтому оба они (сознаніе и языкъ) возникли вмѣстѣ другъ съ другомъ и съ помощью другъ друга, и вопросъ о томъ, разумъ или языкъ былъ первымъ, имѣть столько же смысла, сколько знаменитый споръ о томъ, яйцо или курица возникли раньше. Такимъ образомъ, проблема происхожденія языка можетъ лишь постольку вызывать вниманіе, поскольку она ограничивается вопросомъ, какимъ образомъ выразительныя движения, присущія человѣку и адекватныя степени развитія его сознанія, сдѣлялись звуками рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ превратились постепенно въ символы содержаній мысли, которые лишь въ извѣстныхъ исключительныхъ случаяхъ позволяютъ опредѣлить непосредственную связь съ ихъ значеніемъ. Такъ какъ языкъ развился, согласно нашему предположенію, изъ болѣе простыхъ формъ выразительныхъ движений, которыя (особенно, наиболѣе близко примыкающіе къ намъ жесты) позволяютъ еще явственно различить связь съ обозначаемыми ими представленіями, то мы можемъ заключить, что такое *соотношеніе всегда было присуще и звуку рѣчи*. Но это заключеніе не позволяетъ признавать подобное соотношеніе непосредственно даннымъ, какъ это предполагаетъ теорія звукоподражанія. Напротивъ, оно должно быть признано уже *à priori* и при томъ въ двоякомъ смыслѣ *непрямымъ*, и это не только допустимо, но даже исключительно это и возможно: во первыхъ и главнымъ образомъ потому, что самыи *непосредственнымъ* выраженіемъ психического процесса является артикуляціонное движение, а не звукъ (этотъ же послѣдній стоить въ связи съ такимъ процессомъ не непосредственно, но только вслѣдствіе близости языкового движения и звука), а во вторыхъ потому, что звуковое движение (*die Lautbewegung*) можетъ найти настолько дѣятельную поддержку въ сопровождающемъ пантомимическомъ и мимическомъ движении, что первоначально во многихъ случаяхъ звукъ получить свое значение только съ помощью этихъ сопровождающихъ жестовъ. Поэтому, существеннымъ моментомъ въ первоначальномъ языковомъ выраженіи является не самый звукъ, но звуковой жестъ (*die Lautgebärde*), движение органовъ артикуляціи, которое, подобно всѣмъ другимъ жестамъ, имѣть отчасти указательный, отчасти изобразительный характеръ, и которое, сопровождая жестикуляцію рукъ и другихъ частей тѣла, присоединяется, въ сущности, къ совокупному выраженію чувствъ и представлений, только какъ особенный видъ мимическихъ движений. И лишь *потомъ*, какъ слѣдствіе звуковыхъ жестовъ, является звукъ рѣчи, который въ силу отношеній между артикуляціоннымъ движениемъ и звукообразованіемъ, конечно, можетъ обладать извѣстнымъ средствомъ съ тѣмъ, что онъ выражаетъ. Но все-таки это родство остается довольно далекимъ.

Поэтому, звукъ рѣчи тѣмъ менѣе можетъ быть принять *à priori* за совершенное выраженіе своего значенія, что даже звуковой жестъ, ближе стоящій къ этому значенію, составляетъ лишь одну часть совокупнаго мимическаго и пантомимического выраженія. Этому вполнѣ отвѣчаетъ та роль, которую еще и теперь въ языкѣ дикихъ народовъ и въ языковомъ развитіи ребенка играетъ жестъ, представляющій собою вспомогательное средство языка".

"Въ виду этого мы имѣемъ право предположить, что звуковой языкъ развился первоначально вмѣстѣ съ языкомъ жестовъ и при его содѣйствіи, и что онъ обособился отъ этого послѣдняго и пріобрѣлъ самостоятельность лишь мало по малу, подъ вліяніемъ долгаго совмѣстнаго существованія. Если первоначальный звукъ рѣчи является звуковымъ жестомъ, который въ значительной мѣрѣ пріобрѣлъ свое значеніе только съ помощью прочихъ мимическихъ и пантомимическихъ движений, его сопровождавшихъ, то прочнаго, не допускающаго никакихъ недоразумѣній соотношенія между звукомъ и значеніемъ никогда не существовало. Пожалуй, во всякое время, когда вслѣдствіе какого-нибудь новаго впечатлѣнія вырывался новый звуковой жестъ, этотъ послѣдній, какъ и другіе жесты, воспринимался какъ говорящимъ, такъ и его средой въ предѣлахъ имѣвшагося кругозора за выраженіе опредѣленныхъ сочетаній представлений и чувствъ, какъ это еще и теперь наблюдается въ извѣстныхъ ономатопоэтическихъ звукообразованіяхъ. Но эти новообразованія опять-таки совершенно ясно показываютъ, что исходный пунктъ этихъ явлений составляетъ повсюду не „звукоподражаніе“, но языковой жестъ. Говорящее лицо приспособляетъ свои собственныя артикуляціонныя движения къ тому впечатлѣнію, которое производить на него предметъ. При этомъ оказываетъ дѣятельное участіе и обычная жестикуляція. Разъ возникнувъ, значеніе звука остается уже прочно, если даже выпадаетъ сопровождающій его жестъ, и если даже звуковой жестъ и звукъ утратили свое первоначальное средство съ предметомъ. И именно тогда нерѣдко случается, что подъ вліяніемъ впечатлѣнія возникаетъ стремленіе придать звуковому движению новое родство съ тѣмъ, что оно выражаетъ: такъ возникаютъ разнообразныя явленія вторичнаго звукоподражанія. Такимъ образомъ, не случай создалъ языковой звукъ, но этотъ послѣдній былъ опредѣленъ сопровождающими мимическими и пантомимическими движениями, относившимися первоначально лишь къ тому, что звукъ означаетъ. Это произошло при посредствѣ мимическихъ движений, такъ какъ и самый звуковой жестъ представляетъ лишь особыную форму этихъ движений, и при посредствѣ пантомимическихъ движений, такъ какъ по отношенію къ нимъ звуковой жестъ и зависящій отъ него звукъ рѣчи представляютъ сопутствующее движение (*eine Mitbewegung*), которое зависитъ отъ остальныхъ компонентовъ совокупнаго выразительного движения. Такъ напр., вытягивание рукъ вызываетъ иная со-

пуществующія движенія, нежели сжиманіе ихъ; болѣе энергичные жесты вызываются болѣе сильными звуковыми жестами и т. д. Такимъ образомъ, звукъ рѣчи возникаетъ всесфѣро, какъ естественный и неизбѣжный результатъ психофизическихъ условій, преобладающихъ при его образованіи... Будучи продуктомъ имѣющихся въ данный моментъ психофизическихъ условій, звуковой жестъ представляетъ не механическій рефлексъ, но именно лишь простейшую психофизическую реакцію въ сферѣ двигательныхъ процессовъ: инстинктивный или опредѣленный лишь въ одномъ смыслѣ волевой актъ. Но такъ какъ онъ съ самаго начала мотивируется не только физически, но и прежде всего психически, то и все примыкающее сюда развитіе языка превращается въ цѣль процессовъ, въ которой отражается духовное развитіе самого человѣка, прежде всего его представлений и понятій. Во всемъ, что составляетъ сущность языка, въ словообразованіи, соединеніи предложенийъ и въ переходахъ значеній, языкъ есть не только вѣнѣніе выраженіе общихъ процессовъ сознанія, но и частное необходимое явленіе ихъ". Такова теорія Вундта о происхожденіи языка, которая, въ результатѣ его двухтомного изслѣдованія о процессахъ выраженія сознанія въ рѣчи, пріобрѣтаетъ, какъ видимъ, чрезвычайно простой видъ. Источникомъ языка является жестъ, артикуляція звука представляетъ собою своеобразный жестъ, который вызываетъ и самый звукъ; дифференціація жестовъ и связанныхъ съ ними звуковъ составляетъ ту почву, на которой складываются первыя значения при помощи мимическихъ и пантомимическихъ движений¹⁾.

При этомъ Вундтъ совсѣмъ устраиваетъ изъ своего разсмотрѣнія вопросъ, который представлялъ камень преткновенія для многихъ изъ его предшественниковъ, именно вопросъ о томъ, какой же уровень психического развитія долженъ предшествовать возникновенію языка.

Если, по мнѣнію Вундта, разумъ создался съ помощью языка, а языкъ съ помощью разума, то мы все-же не выходимъ изъ затрудненія. Вундтъ, насколько можно судить изъ его ссылки только на книгу Штейнталя о происхожденіи языка, слишкомъ мало знакомъ съ литературой этого вопроса: онъ знаетъ теоріи Нуаре, Макса Мюллера, еще кое-кого, но, кажется, вся сложность и глубина этой проблемы какъ-то не представились ему во всемъ своемъ значеніи.

Вслѣдствіе этого, остается неясно, какая же все-таки психологическая особенности человѣка дали ему возможность достигнуть того, что оказалось недостижимо для всѣхъ остальныхъ животныхъ, почему „звуковой

¹⁾ Въ другомъ мѣстѣ своей книги (стр. 257—259) Вундтъ устанавливаетъ генетическую послѣдовательность предложенийъ (восклицаніе, сужденіе, вопросъ), при чемъ первично выраженіе рѣчи принимаетъ форму „предложенийъ восклицательного“ (Antrufungssatr), такъ что, можно думать рѣчь начинается не со словъ, но съ предложенийъ.

жестъ" у человѣка повель къ возникновенію рѣчи, а у животнаго не даль такихъ результатовъ, каковы были тѣ бытовыя условія, которыя облегчили процессъ развитія, хотя бы пути его были указаны Вундтомъ правильно. Вотъ почему его теорія, какъ она ни интересна въ психологическомъ отношеніи, не даетъ, по моему мнѣнію, окончательного разрѣшенія проблемы, потому что эта послѣдняя является далеко не только вопросомъ психологіи, но и вопросомъ культурной исторіи. Вѣдь въ созданіи человѣческой рѣчи долженъ быть наступить моментъ, когда языкъ вышелъ изъ предѣловъ непроизвольныхъ или полусознательныхъ звуковъ, когда онъ предсталъ передъ людьми, *какъ изобрѣтеніе*, какъ продуктъ культуры, распространяющейся, какъ всѣ такие продукты цивилизациіи, съ помощью вліянія одного человѣка на другого или на цѣлую группу другихъ. Люди *in abstracto* создали языкъ, или этотъ послѣдній былъ изобрѣтенъ наиболѣе одаренными или даже однимъ наиболѣе одареннымъ человѣкомъ, который встрѣтилъ въ своихъ окружающихъ среду, достаточно подготовленную для того, чтобы его изобрѣтеніе было ими воспринято? Такъ, кто-то напечь примитивное земледѣліе, кто-то сталъ пріучать первое животное. Это не была цѣлесообразная дѣятельность, направленная на достижение опредѣленныхъ, хотя бы предполагаемыхъ результатовъ; это была, напротивъ, дѣятельность почти инстинктивная, съ результатами случайными, но по ассоціаціи связавшимися съ представлениіями о самой дѣятельности,—дѣятельность, скоро вышедшая изъ предѣловъ безсознательности. О значеніи вліятельной личности въ кругу дикарскаго племени мы знаемъ, и нѣть основанія предполагать, что такихъ вождей не было уже и у первобытнаго человѣка. А власть вождя основана даже у самыхъ низкихъ дикарей не столько на его физическомъ преобладаніи, сколько на его нервной организаціи, на тонкости его восприятій дѣйствительности, на его способности внушать другимъ какое-то суевѣрное почтеніе къ себѣ. И именно такой человѣкъ легче всего могъ ассоциировать звуки съ образами и использовать звукъ для выраженія своего сознанія, содержаніе которого понималось инстинктивно его окружающими. Происхожденіе языка, какъ проблема историкокультурная, совершенно пренебрежено Вундтомъ. Далѣе, много говоря о звукѣ, какъ жестѣ (откуда и это оригинальное название: звуковой жестъ—*Lautgebärde*), Вундтъ совсѣмъ не говорить о звукѣ, какъ тонѣ, а между тѣхъ въ инстинктивномъ пониманіи, какъ мы знаемъ, чрезвычайно видная роль принадлежитъ не только жестикуляціи и мимикѣ, но и тону.

Не обративъ вниманія на роль этого послѣдняго въ возникновеніи человѣческой рѣчи, Вундтъ миновалъ рядъ такихъ фактовъ, которые связаны съ этимъ послѣднимъ: тоны у глухонѣмыхъ (напр., у Лауры Бриджменъ), тоны въ состояніи полового возбужденія (пѣніе птицы, крики звѣрей) и въ нормальномъ состояніи и т. под. Наконецъ, Вундтъ не отмѣ-

тиль съ достаточной силой и того факта, что въ первоначальной,rudimentарной рѣчи не обычныя восприятія должны были связаться съ звуками, но или *специальныя*, или болѣе яркія,—однако, не потрясающія всего первнаого организма возбужденіями, которыхъ не могли сосредоточить вниманіе его на процессахъ внутренней жизни. Весьма важныя преимущества физического строенія человѣка, отмѣченныя Габелентцемъ, также оставлены Вундтомъ безъ вниманія. Такимъ образомъ, признавая важность его указаній на связь жеста съ рѣчью (что согласуется и съ данными Болдуина относительно связи дѣятельности правой руки съ разряженіемъ энергіи въ звукахъ),—я полагаю, однако, что Вундтъ не далъ разрѣшенія проблемы о происхожденіи языка, и что для него просто не существовалъ этотъ вопросъ, какъ историко-культурный. Между тѣмъ миновать эту сторону вопроса не представляется возможнымъ.

Я закончу обзоръ изученія литературы разматриваемой проблемы изложеніемъ недавно появившагося этюда русскаго ученаго, проф. Д. Н. Кудрявскаго¹⁾, который въ согласіи съ требованіями современного языкознанія (укажу на данное выше изложеніе взглядовъ американца Скотта или Г. Пауля) полагаетъ, что „выяснить условія происхожденія языка мы можемъ только однимъ путемъ: намъ необходимо размотрѣть, въ какихъ условіяхъ живетъ и развивается языкъ въ настоящее время, каковы были эти условія въ прошломъ и этими данными освѣтить недоступное исторіи времія возникновенія языка. При этомъ мы должны выбирать такія условія существованія доступныхъ нашему наблюденію языковъ, которыя общіи всѣмъ языкамъ, которая, слѣдовательно, могутъ являться также и условіями, необходимыми для возникновенія языка. Разматривая эти условія, мы замѣчаемъ, что нѣкоторые изъ нихъ наблюдаются не только у человѣка, но и у другихъ животныхъ. Въ такихъ случаяхъ, мы имѣемъ право предположить, что явленія человѣческаго языка представляютъ высшую ступень развитія тѣхъ зачатковъ, которые мы наблюдаемъ у другихъ животныхъ. Въ такихъ случаяхъ намъ необходимо выяснить, въ какомъ направленіишло развитіе этихъ зачатковъ, и чѣмъ отличается отъ нихъ достигнутая человѣкомъ высшая ступень“. На этихъ методологическихъ предпосылкахъ построено проф. Кудрявскимъ разрѣшеніе проблемы происхожденія языка: звуковая сторона рѣчи, заключающаяся въ своихъ первоосновахъ въ естественныхъ звукахъ человѣка и животнаго, извѣстная психическая подготовка, принадлежащая человѣку, какъ одному изъ существъ въ общей цѣпи животныхъ организмовъ, специально человѣческія способности и общія всѣмъ языкамъ, какъ таковыми, особенности. Какъ мы видѣли выше на цѣломъ рядѣ примѣровъ, эти частичные вопросы признаются современной наукой наиболѣе настоятельными для разрѣшенія кардинальной проблемы. Проф. Кудрявскій не полагаетъ пропасти между рѣчью животныхъ и че-

¹⁾ О происхожденіи языка. „Русская Мысль“. 1912, юль.

ловъческой. Онъ констатирует, въ чём съ нимъ нельзя не согласиться, что сознательная рѣчь человѣка подготовлена уже психической жизнью высшихъ животныхъ. „Хотя у животныхъ инстинктивное пользованіе звуками преобладаетъ надъ сознательнымъ, а у человѣка, наоборотъ, разумное пользованіе имѣть перевѣсъ надъ инстинктивнымъ, тѣмъ не менѣе существенной разницы здѣсь нѣтъ: разница только количественная“ (стр. 120).

Особенное значеніе для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка проф. Кудрявскій приписываетъ междометіямъ. „То обстоятельство, что въ языкѣ мы находимъ не только слова, но и междометія, даетъ намъ возможность еще ближе подойти къ решенію вопроса о происхожденіи языка. Дѣйствительно, если мы разсмотримъ разницу между нечленораздѣльнымъ междометіемъ и словомъ, то мы можемъ уяснить себѣ, какія условія необходимы были для созданія членораздѣльного человѣческаго языка. Мы имѣемъ полное право смотрѣть на междометія, какъ на ту стадію пользованія звукомъ, которая предшествовала созданію языка, и моментъ возникновенія языка мы можемъ опредѣлить, какъ переходъ отъ междометія къ слову“. Въ другомъ мѣстѣ своей статьи проф. Кудрявскій дополняетъ эту мысль указаніемъ на то, что языкъ „возникаетъ тогда, когда появляется сопоставленіе представлений и соотвѣтствующихъ имъ словъ“.

На этомъ я заканчиваю свой обзоръ литературы, посвященной изученію проблемы возникновенія человѣческой рѣчи. Я не разбивалъ этого обзора на изложеніе отдѣльныхъ теорій, потому что онѣ слишкомъ тѣсно переплетаются передъ собой, и каждое изъ явленій этой литературы можетъ быть понято, по моему убѣжденію, только въ хронологической связи съ другими: Штейнталъ, будучи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ послѣдователемъ Гумбольдта, является вмѣстѣ съ тѣмъ представителемъ эпохи, когда въ науку входили уже новые эволюціонные принципы; развитіе взглядовъ Макса Мюллера остается совсѣмъ непонятно виѣ ознакомленія съ теоріями Гейгера и Нуаре и т. п. Въ совокупности своей эта обширная литература выяснила, по моему мнѣнію, всѣ точки зреянія, которыя необходимо принять при разрѣшеніи рассматриваемой проблемы, и если я постараюсь въ дальнѣйшемъ изложеніи представить нѣсколько своихъ соображеній по этому вопросу, то все же я полагаю, что при настоящемъ уровнѣ знаній возможно лишь дальнѣйшее слѣдованіе по уже протореннымъ путямъ, и не представляется никакой надобности въ проложеніи совершенно новыхъ. Какъ мнѣ кажется, и теорія звукоподражанія, и теорія междометій, и теорія „сопроводительного крика“: всѣ заключаютъ въ себѣ извѣстныя здоровыя зерна, которые должны быть взращены наукой.

Не эклектизмъ, но критическое изученіе литературы предмета привело меня къ убѣжденію, что на первыхъ стадіяхъ развитія рѣчи, какъ и въ настоящее время, участвовали въ созданіи словаря всѣ эти процессы.

Никакъ нельзя оставить безъ вниманія и тѣ особенности человѣческаго строенія, которыя давали человѣку возможность свободно дышать при ходьбѣ, свободно пользоваться своими верхними конечностями для всяческаго труда, которыя, далѣе, оставляли его ротъ свободнымъ, такъ какъ онъ не долженъ быть питаться въ продолженіе цѣлаго дня, какъ жвачное животное. И, наконецъ, человѣкъ долженъ быть принять изслѣдователемъ началь рѣчи, какъ существо поющее, подвижное, животное, стремящееся къ общенію съ ему подобными.

ГЛАВА XVIII.

Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ.

Первобытнаго, еще не говорящаго человѣка мы должны представлять себѣ существомъ, ушедшими уже довольно далеко въ своемъ умственномъ развитіи отъ современныхъ намъ высшихъ животныхъ. Какъ утверждаетъ проф. В. А. Вагнеръ¹⁾, „въ дѣятельности обезьянъ вообще нѣтъ ни одного момента, который для своего объясненія нуждался бы въ чемъ-нибудь, кроме памяти и способности къ ассоціаціямъ по смежности“. Американскій изслѣдователь, Торндайкъ, поставившій извѣстные опыты съ цѣлью провѣрить способность обезьянъ къ подражанію и изобрѣтенію, полагаетъ, что въ классификациіи умственныхъ способностей обезьяна заняла бы самое высокое мѣсто, но что, тѣмъ не менѣе, высота это ничто по сравненію съ человѣкомъ. Какъ бы мы ни толковали пути, по которымъ шло развитіе „антропопитека“ въ направленіи къ человѣку, все-таки исторію человѣческой культуры намъ приходится начинать съ предположенія того существа, которое стоитъ уже несомнѣнно выше обезьянъ. Безъ языка невозможно ни логическое мышеніе, ни образованіе понятій, но чрезвычайная сила и яркость образовъ, развитая эмоциональная сторона духовной жизни, способность къ ассоціаціямъ образовъ, превосходящая все то, что мы знаемъ по этой части у животныхъ; все это слѣдуетъ предположить уже у первобытнаго человѣка. Такое предположеніе является отчасти необходимой предпосылкой для умозаключеній о дальнѣйшемъ умственномъ развитіи человѣка, отчасти же фактъ, установленный изучениемъ самыхъ грубыхъ дикарскихъ племенъ. Поэтому, я полагаю, что однимъ изъ наиболѣе прочно установленныхъ положеній въ изученіи началь человѣческой культуры должно быть выдѣленіе человѣка изъ всего животнаго міра, какъ существа, несомнѣнно выше развитого въ умственномъ отношеніи. Вмѣсть съ тѣмъ, уже первобытный человѣкъ долженъ быть принять за существо, хотя и не стадное, но во всякомъ случаѣ живущее болѣе или менѣе долгій срокъ парами. Такъ, шимпанзе живутъ, по словамъ Варини²⁾, „маленькими семействами, состоящими изъ отца, ма-

1) Вл. Вагнеръ. Біологіческія основанія сравнительной психологіи (Біо-психологія). Томъ II. Инстинктъ и разумъ. 1913, стр. 394—395.

2) H. de Varigny. Histoire et moeurs des animaux. Paris. 1904. I. 20. 28.

тери и дитяти, и питается плодами, нѣжными листочками и сочными корнями. Они не брезгаютъ также яйцами, птицами и мелкими млекопитающими". Младенцы шимпанзе растутъ медленно, и только по истечениі четырехъ лѣтъ у нихъ прорѣзываются коренные зубы. Другая человѣкообразная обезьяна, горилла, держится также маленькими семьями, состоящими изъ самца, самки и *нѣсколькохъ дѣтей*, такъ что передъ нами уже сравнительно значительная группа. Подобно шимпанзе, горилла питается по преимуществу растительной пищѣй, но не брезгаетъ также ни яйцами, ни мясомъ птицъ или млекопитающихъ. Такимъ образомъ, эти данныя позволяютъ, какъ мнѣ кажется, предположить, что и первобытный человѣкъ зналъ семью, и что онъ питался какъ растительной, такъ и животной пищею, что оставляло ему извѣстный досугъ, такъ какъ онъ не былъ принужденъ весь день только собирать плоды и корни или охотиться на птицу и звѣря.

Способность и стремлениѣ издаватъ звуки должны были принадлежать первобытному человѣку за долго до того, какъ онъ пріобрѣлъ рѣчь. „Сырой матеріаль" языка долженъ быть накопиться ранѣе возникновенія сознательного языка. Эта матеріаль заключалася въ воскликаніяхъ, вырывавшихся изъ груди человѣка при извѣстномъ возбужденії (а первобытного человѣка намъ слѣдуетъ предположить существомъ весьма эмоциональнымъ), въ пѣніи, которое составляло одно изъ выраженій его полового инстинкта, быть можетъ, также въ пѣніи и въ другое время, при чмъ въ звукахъ его должно было занимать място и звукоподражаніе. Пѣвучесть первобытного языка считалася необходимой принадлежностью его еще учеными 18 вѣка (ср. стр. 401), а Верберъ настаивалъ на преобладаніи въ немъ гласныхъ звуковъ, что соотвѣтствуетъ нашимъ представленіямъ о языке, сначала *плющимся* и лишь потомъ превратившемся въ рѣчь.

Звукоподражаніе, а также упражненіе органовъ рѣчи, которое доставляло первобытному человѣку удовольствіе и удовлетвореніе, какъ всякое успѣшное упражненіе своихъ органовъ, внесло тотъ матеріаль, изъ котораго потомъ сложилась человѣческая рѣчь, множество всякихъ звуковъ, и прищелкиваній, и всасываній губами, и подражаній. Такъ младенецъ въ періодъ лепета производить своимъ голосомъ много разнообразнѣйшихъ неартикулированныхъ звуковъ. Если не инстинктъ рѣчи, то инстинктъ издаванія тоновъ человѣку слѣдуетъ приписать. Тѣ *собственные звуки*, которые издавала глухонѣмая Лаура Бриджменъ, свидѣтельствуютъ о неудержимомъ стремлениѣ современного человѣка не только выражать свои эмоціи въ звукахъ, но и *воспринимать* эти послѣдніе какъ выраженіе эмоцій, *систематизировать* ихъ. Конечно, въ случаѣ Лауры Бриджменъ можно говорить о наслѣдственности, но является вопросъ, можетъ ли быть унаследована *приобрѣтенная* видовая особенность, какой

является стремлениe связывать звуки со значениями. Однако, даже отбрасывая все то, что было привнесено наследственностью или влиянием окружающихъ, мы все-таки остаемся передъ фактомъ наличности у глухонѣмой такой способности къ ассоціаціямъ звуковъ съ представлениями, которая была присуща человѣку уже на той стадіи его развитія, когда возникла рѣчь. Въ этомъ смыслѣ можно, пожалуй, сказать, что человѣчеству, какъ таковому, принадлежитъ инстинктъ рѣчи, который использовалъ въ качествѣ материала всѣ тѣ звуки, какие вошли въ обиходъ человѣка еще до возникновенія этого безсознательного стремленія болтать, т. е. звукоподражанія, восклицанія, неартикулированные звуки, порожденные упражнениемъ органовъ рѣчи при пѣніи и т. под. Это стремленіе, которое лишь въ условномъ смыслѣ слова можно назвать инстинктивнымъ, должно было принадлежать человѣку, какъ таковому, т. е., можетъ быть, оно было унаследовано человѣкомъ отъ его животныхъ предковъ, но создало языки уже человѣчество. Я употребляю здѣсь слово языки, а не языки намѣренно, такъ какъ по моему мнѣнію, общечеловѣческимъ можетъ быть признанъ только языкъ, состоящій изъ словъ—предложенийъ (sentence-words Есперсена). Выдѣленіе же изъ этого предложения отдѣльныхъ словъ произошло уже на почвѣ дальнѣйшаго, не общечеловѣческаго развитія. Я никакъ не могу возвести къ одному праязыку все то разнообразіе словообразованія, которое мы наблюдаемъ въ языкахъ дикарей. Дѣйствительно, корневой составъ языковъ австралійцевъ производить впечатлѣніе такой же первобытности, какъ и стремлениe сохранить характеръ слова предложения въ языкахъ сѣвероамериканскихъ индѣйцевъ или негровъ—банту. И это стремленіе по разному выражается въ принципѣ включенія ряда словъ въ одноглагольное образованіе и въ принципѣ соединенія словъ предложения съ помощью повторенія одной и той же части, т. е. въ языкахъ Америки и Африки. Что здѣсь первобытнѣе? Въ языкахъ корневыхъ, гдѣ одинъ и тотъ же корень въ два-три звука получаетъ рядъ разнообразныхъ значеній, эти послѣднія различаются только по интонаціи, и эта роль интонаціи въ такихъ языкахъ, какъ австралійские, нѣкоторые южноамериканскіе и т. под., представляется пережиткомъ древнѣйшихъ отношеній языка. Но только пережиткомъ же слова—предложения (sentence word) можно объяснить и вышеуказанные типы строенія сѣвероамериканскихъ и африканскихъ языковъ, такъ что первобытность всѣхъ этихъ формъ образованія кажется, относительно говоря, одинаковой: все это результаты развитія первоначально одинакового типа языка. Такимъ образомъ, я считалъ бы правильнымъ выставить такое положеніе: человѣческий языкъ возникъ въ одномъ мѣстѣ, въ одной группѣ людей, на основаніи инстинкта, присущаго человѣческому существу, но то, что возникло здѣсь, еще не представляло языка въ нашемъ смыслѣ слова.

Это были только зародыши будущей речи, заключавшиеся въ ритмическихъ пѣвучихъ сочетаніяхъ слабо артикулированныхъ звуковъ, сочетаніяхъ, которые уже связывались съ извѣстными эмоциональными значеніями. Эмоціи соединялись какъ съ этими звуковыми сочетаніями, такъ и съ образами: вѣдь, какъ мы уже видѣли, образамъ почти всегда соответствуетъ извѣстная эмоциональная окраска. Вслѣдствіе этого, звуковая сочетанія ассоциировались и съ образами, и слово получило свое первоначальное образное значеніе. Эмоциональный характеръ, связывавшійся съ первыми звуковыми сочетаніями, положившими начало человѣческому языку, не могъ быть настолько силенъ, чтобы подвергать нервную организацію человѣка чрезвычайной встряскѣ. Паническій ужасъ, или охватившій все существо человѣка восторгъ, или порывъ сильной половой страсти должны были, конечно, истограть изъ его груди восклицанія ужаса или радости, но эти „крики страсти“, какъ называли ихъ французские писатели 18 вѣка (ср. стр. 406), не обладали ассоціативной способностью и остались въ силу этого донынѣ на уровнѣ инстинктивныхъ восклицаній. Эмоціи, давшія толчокъ развитію языка, должны были обладать характеромъ обычныхъ переживаній, привычныхъ радостей и печалей. Не эмоціи, вызвавшія крикъ, но эмоціи, сопровождавшія дѣйствія, связанныя вслѣдствіе извѣстныхъ причинъ съ криками или пѣснями, или пѣвучимъ ритмическимъ речитативомъ,—вотъ первоисточникъ человѣческой речи.

На это указываетъ, кромѣ вышеупомянутыхъ соображеній, роль, какую играетъ въ языкахъ дикарскихъ (т. наз. первобытныхъ) народовъ элементъ интонаціи, мимики, жеста. Я напомню, чтобы не повторяться, какое значеніе придавали жесту въ вопросѣ о происхожденіи языка Вундтъ и Скоттъ, которые къ инстинктивной жестикуляціи человѣка возводили и самое начало его языка. Интонація есть выраженіе въ голосѣ внутренняго чувства: вотъ почему тамъ, где языкъ еще ближе къ своимъ первоосновамъ, чѣмъ у насъ, тонъ не только „дѣлаетъ музыку“, но и создаетъ слово съ опредѣленнымъ значеніемъ. Мимика и жесть представляютъ до такой степени необходимый элементъ въ речи дикарей, что, какъ мы видѣли выше, по указаніямъ этнографовъ, безъ нихъ становится просто непонятнымъ значеніе фразы. Человѣкъ, не только поющій свою речь, но и сопровождающій ее инстинктивными спутниками эмоціи, мимики и жестикуляціей: вотъ тотъ образъ, который рисуется мнѣ, какъ носитель первобытнаго языка. Пониманіе тона и жеста предшествуетъ пониманію словъ, и съ другой стороны, при утратѣ словесныхъ образовъ внутренней речи сохраняется способность понимать тонъ, ритмъ, мимику и жесть. Слѣдовательно, эти средства выраженія предшествуютъ возникновенію языка.

Но особенно важное значеніе слѣдуетъ приписать, по моему мнѣнію, ритму. Въ виду этого я остановлюсь здѣсь на нѣкоторыхъ данныхъ пси-

хологической литературы о ритмѣ¹⁾). Такъ напр., „ритмъ рѣчи оказываетъ дисциплинирующее вліяніе на дѣятельность изученія. Онъ неумолимо толкаетъ впередъ учащаго (стихи или сочетанія слоговъ), такъ какъ всякая неправильность въ произношеніи, всякая невнимательность разрушаетъ тактъ и вызываетъ чувство неудовольствія вслѣдствіе выпаденія изъ данного ритма. Вслѣдствіе этого эстетического момента нарушенія такта учащійся невольно придерживается такта соразмѣренной работы“ (Мейманъ, цит. Мюллеръ 349—350). При этомъ Мюллеръ отмѣчаетъ, что соразмѣренность работы, создаваемая ритмомъ, является иногда чисто вѣшней,— и это замѣчаніе представляетъ извѣстное значение именно при изученіи началь рѣчи, такъ какъ здѣсь должно быть предположено дѣятельство безсознательного вѣшняго ритма. Стремленіе къ ритму лежитъ въ натурѣ человѣка

„Если я пытаюсь заучивать рядъ слоговъ, согласныхъ и т. д. безъ ритма, въ видѣ сочетаній напр. по двое, при томъ имѣющихъ совершенно одинаковое удареніе,—говорить Мюллеръ (358),—то мнѣ приходится употреблять большое вниманіе, чтобы не впасть непроизвольно въ определенный (хореический или ямбический) ритмъ. А впавъ въ такой определенный ритмъ, оказывается уже очень трудно отдѣлаться отъ него“. То же самое онъ отмѣчаетъ относительно извѣстной тенденціи ритмически располагать въ своемъ слуховомъ восприятіи услышанный рядъ звуковыхъ ударовъ (Schallschläge) одинакового характера и силы. Это происходитъ въ силу присущаго человѣку стремленія къ „субъективной ритмизации“, какъ называетъ эту особенность нашей психики Мюллеръ. Ограничивааясь даже приведенными фактами, мы имѣемъ право приписывать человѣчеству и на самыхъ раннихъ стадіяхъ его развитія инстинктивное влечение къ ритму. Его пѣсней могло быть ритмическое повтореніе извѣстныхъ слабо-артикулированныхъ звуковыхъ сочетаній. На этомъ, однако, еще не заканчивается гипотетическая часть моихъ взглядовъ на происхожденіе языка. Какъ я отмѣтилъ уже выше, по моему мнѣнію, первобытного человѣка мы можемъ представить себѣ существомъ *работающимъ*. Шimpanze строить себѣ гнѣздо, покрытое кровлей и сложенное изъ вѣтокъ; постройка гориллы представляетъ довольно сложное зданіе; орангъ-утангъ возводить свое гнѣздо на деревѣ, употребляя для строенія согнутыя имъ вѣтки и т. п.

Конечно, мы имѣемъ здѣсь передъ собою дѣятельность инстинктивную, но у того существа, которое создало человѣчество, необходимо предположить уже переходъ отъ инстинктивной къ полусознательной дѣятельности. Какъ бы велика по своей численности ни была та группа, среди

¹⁾ G. E. Müller. Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsvorlaufes. I Teil. Leipzig. 1911. Zeitschrift für Psychologie. Ergänzungsband 5. Я цитирую здѣсь работу Мюллера и его ссылки на различныхъ авторовъ, не называя этихъ послѣднихъ.

которой онъ жилъ, была ли эта семья или цѣлая колонія, здѣсь должна была господствовать личность вождя, какъ это наблюдается и у обезьянъ. „У многихъ обезьянъ имѣется настоящая соціальная жизнь, очень схожая съ режимомъ племени странствующихъ охотниковъ, въ которомъ пребываютъ еще многія изъ дикихъ народностей“, утверждаетъ Варини. Особенно онъ подчеркиваетъ важное значеніе вождя такой группы у высшихъ обезьянъ. Повидимому, человѣкъ никогда не обходился безъ такихъ вождей, при чемъ власть этихъ послѣднихъ, которая первоначально зиждалась только на физическомъ превосходствѣ силъ, потомъ пріобрѣтала свою опору и въ большемъ или оригинальномъ умственномъ развитіи вождя. У дикарей „колдунъ“—высшая власть, и съ этимъ фактотъ, наблюдающимся на протяженіи чуть не всей этнографии дикихъ племенъ, конечно, приходится считаться, какъ съ однимъ изъ важнѣйшихъ пережитковъ глубокой древности человѣческаго рода. Другими словами, представляется возможнымъ предположить наличность какъ известной индивидуализаціи въ первобытномъ обществѣ, такъ и сильной власти въ предѣлахъ первоначальной группы: первая была необходима для того, чтобы возникло творчество, вторая была необходима для того, чтобы результаты этого творчества получили распространеніе.

Такимъ образомъ, то состояніе пра-человѣчества, на которомъ въ известной группѣ возникъ языкъ, и на которомъ вслѣдствіе этого началась эволюція отъ человѣковиднаго животнаго къ человѣку,—это состояніе предполагаетъ примитивную соціальную группу, власть стоящаго надъ нею вождя, не только самого сильнаго, но и самаго умнаго существа въ этой группѣ, и совмѣстный трудъ, производимый членами группы при участіи или подъ властью ея вождя. Этотъ трудъ долженъ быть имѣть первоначально характеръ автоматической,—и не только трудъ, но и веселье: даже танецъ обладаетъ у дикарей такимъ автоматическимъ характеромъ¹⁾. Автоматическая движенія, которыя сопровождаются выполненіемъ различныхъ формъ труда, составляютъ его ритмъ. Ритмически приходится грести, подымать молотъ надъ наковальней, двигаться впередъ и назадъ вѣмъ корпусомъ при пилкѣ дерева, при шлифовкѣ камня и т. под. И такой ритмъ работы вызываетъ ритмъ непроизвольныхъ восклицаній, сопровождающихъ усилив.

Рабочія пѣсни въ своей простѣйшей формѣ представляютъ ритмъ восклицаній, соответствующій ритму работы. Индѣйцы Сѣверной Америки, гребя веслами, поютъ въ тактъ: ah yah ah yah ah ya ya! Китайцы замыкаютъ эти восклицанія слѣдующими: hei-ho, hei-hau, hei-ho, hei-hau и т. д. до безконечности; на островѣ Самоа пѣсню гребцовъ составляютъ соло и хоръ, при чемъ соло поетъ: fo-fa-l, а хоръ подхватываетъ: na-a-

¹⁾ Здѣсь и въ дальнѣйшемъ ссылки на знаменитое изслѣдованіе Бюхера: K. Bicher. Arbeit und Rhythmus. 3 Auflage. 1902.

gi-le fo-l; здѣсь же записана другая пѣсня слѣдующаго содержанія: *соло tu-te tu-ma-i le fou aue!* хоръ: *tu-te-na-lo-fia-oe!* Наконецъ, матросы феллахти, гребя на нильскихъ судахъ, поютъ: *ala om-my Be-da-wy* и т. д. Безсмысленные слова, очевидно, не играютъ здѣсь большой роли; ихъ значеніе отступаетъ на задній планъ передъ мелодіей, передъ ритмомъ пѣсни. Но это наблюдается не всегда: къ ритму примѣняются иногда слова, которыя даютъ ближайшее опредѣленіе дѣйствію. Гребцы на Нилѣ поютъ приведенную пѣсню, но они знаютъ и другія. Такъ, плывя по теченію, они поютъ слѣдующее: *Solo. Не...! il Faium baladac ia-gum... Coro. Не, Не, il Faium baladac* и т. под., и эти слова уже имѣютъ значеніе: „Эй, Фаюмъ есть страна, о грекъ!“ Образцы того же рода мы находимъ и въ русскихъ пѣсняхъ: „Эй ухнемъ, эй ухнемъ! Еще разикъ, еще да разъ!“ Или при подъемѣ тяжестей: „Ой-разъ! Еще разъ! Ой разъ! Еще да разъ!“ Иногда пѣсня описываетъ производимое дѣйствіе, сохраняя своей мелодіей ритмъ описываемой дѣятельности. При выдергиваніи льна поется: „Ужъ я сѣяла, сѣяла ленъ!“ Подобныхъ примѣровъ изъ различныхъ языковъ Бюхеръ приводить множество; они позволяютъ, по моему мнѣнію, представить эволюцію пѣсни отъ нечленораздѣльныхъ сочетаній слабо артикулированныхъ звуковъ, которыя своимъ ритмомъ передаютъ ритмъ работы, къ тѣмъ пѣснямъ, которыя, также соблюдая ритмъ работы, даютъ ея описание въ словахъ.

Нуаре и за нимъ Максъ Мюллеръ представляли дѣло такъ, что усиление, связанное съ работой, вызывало восклицаніе, и что это послѣднее сдѣлалось наименованіемъ самого дѣйствія, первичнымъ глагольнымъ корнемъ. Я внесъ бы въ это пониманіе поправку, основанную на данныхъ книги Бюхера: усиление при ритмической работе вызвало ритмический же рядъ восклицаній, который ассоциировался съ чувствомъ, вызываемымъ этой работой, и съ представлениями ея, такъ что, въ концѣ концовъ, совокупность образовъ, связанныхъ съ работой, связалась въ индивидуальномъ сознаніи съ совокупностью известныхъ звуковыхъ (слуховыхъ и двигательныхъ) образовъ. Первая, такимъ образомъ, превратилась въ значеніе послѣдней. Вліяніемъ отдѣльной личности, которая господствовала надъ другими съ той силой внушенія, какая присуща первобытнымъ обществамъ, слѣдуетъ объяснить распространеніе этой связи звуковъ съ дѣйствіями и предметами и въ цѣлой группѣ лицъ. Каждое изъ этихъ послѣднихъ могло связывать съ звуковымъ сочетаніемъ свой образъ предмета и свое чувство, но связь между звуками и вещами была установлена, и такъ возникъ первоначальный языкъ, для которого материалъ уже былъ подготовленъ еще безсмысленнымъ пѣніемъ, еще ничего незначившими артикуляціями звуковъ. Пока господствовалъ хоръ, пока всѣ вмѣстѣ сопровождали одну дѣятельность одними и тѣми же звуками, до тѣхъ поръ изъ предѣловъ безсознательности эти звуки не могли выйти. Лишь тогда, когда изъ хора

выдѣлилось индивидуальное произношеніе, *соло*, оно вызвало вниманіе къ звуковому сочетанію. За этимъ *соло* вождя послѣдовалъ и хоръ, какъ и до сихъ поръ въ рабочихъ пѣсняхъ видная роль принадлежитъ запѣвалѣ. Повидимому, къ такому индивидуальному говоренію человѣкъ имѣлъ склонность уже оть природы. Вышеприведенное свидѣтельство Мартіуса о южно-американскихъ индѣйцахъ, которые до прихода вождя и до начала засѣданія предаются монологамъ, не обращая никакого вниманія на со-сѣдей, это свидѣтельство обнаруживаетъ склонность первобытнаго человѣка пѣть для самого себя свою пѣсню. Стремленіе людей, находящихся въ особыхъ ненормальныхъ условіяхъ (ср. то, что изложено выше о созданіи языка въ истерії), говорить *по своему*, такъ же возвращаетъ насъ къ первобытному индивидуальному говоренію, какъ и школьные или искусственные языки, обнаруживающіе тенденцію человѣчества къ выдѣленію *своего* изъ массы общепринятаго. Но это было именно такое же „говореніе“, какое мы наблюдаемъ въ лепетѣ младенца, которому, повидимому, пріятно лепетать, и который, сердясь и волнуясь, тоже, но иначе лепечеть.

Такимъ образомъ, еще до возникновенія рѣчи, люди „говорили“, т. е. болтали, пѣли про себя, для себя, безсознательно изливая свои чувства къ неартикулированныхъ пѣсняхъ, въ ритмическихъ повтореніяхъ одного и того же звукового сочетанія, въ прищелкиваніяхъ языкомъ, въ звукоподражаніи и т. д. Возникновеніе *рѣчи* заключалось вовсе не въ томъ, что звукъ связался съ чувствомъ: эта связь могла быть установлена въ каждомъ данномъ случаѣ индивидуальнымъ сознаніемъ еще задолго до созданія человѣческаго языка.

Болтая, первобытный человѣкъ уже могъ испытывать удовлетвореніе отъ производимыхъ имъ звуковъ, онъ уже могъ чувствовать, что такое-то звуковое сочетаніе особенно нравится ему, какъ бы соответствуетъ испытываемому имъ состоянію. Конечно, такое сознаніе было въ крайней степени смутно и очень непрочно: оно едва намѣщало связь между чувствомъ и его моментальнымъ выражениемъ. Но этотъ процессъ все-таки уже создавалъ индивидуальные *значенія*, минутныя, темно-сознаваемыя, сначала только ощущаемыя, какъ удовлетвореніе. Рѣчь человѣка началась не съ нихъ, не съ этихъrudиментарныхъ индивидуальныхъ „языковъ“. Она началась съ того момента, когда одному лицу удалось внушить свое *значеніе* звукового сочетанія другому лицу или цѣлой группѣ. Лишь тогда языкъ возникъ, какъ соціальное явленіе, какъ орудіе пониманія.

Этотъ процессъ созданія языка связанъ, какъ уже указано сейчасъ, съ ритмомъ работы. Но не только съ нимъ. Какими бы путями и при какихъ бы обстоятельствахъ ни совершалось внушеніе *значеній* окружающими, все это создавало языкъ. И ритмъ работы, и восклицаніе радости, и звукоподражаніе, переданные однимъ лицомъ другимъ, становились за-родышами языка, его первыми *словами*. Возникновеніе языка подготовлено

длительнымъ процессомъ психического развитія расы, но оно восходитъ не къ незамѣтному постепенному усвоенію средствъ взаимнаго пониманія, а къ моментальному *изобрѣтенію*. Пути всякаго изобрѣтенія подготавляются медленно и незамѣтно, и вмѣстѣ съ Вундтомъ можно сказать, что нельзя найти его начала. Но на этой линіи подготовительного процесса все-таки есть точка, на которой процессъ завершается открытиемъ или изобрѣтеніемъ. Такъ, кто-то открылъ способъ добывать огонь, кто-то первый воспользовался орудіемъ. Точно также кто-то первый *изобрѣлъ* языкъ, т. е. свои *значенія* укрѣпилъ въ своемъ сознаніи болѣе, чѣмъ другое, и сумѣлъ внушиТЬ другимъ *полусознательное* пониманіе и воспроизведеніе ихъ. Конечно, и у него связь звукового сочетанія со значеніемъ не была прочна, но въ какихъ-нибудь единичныхъ случаяхъ она укрѣпилась и почему-либо стала *нужна* другимъ, какъ стало нужно разведеніе огня, пользованіе камнемъ или вѣткой въ качествѣ орудія.

Какое же значеніе могло имѣть это первобытное слово—предложеніе, то длинное звуковое сочетаніе, то отдѣльный звукъ? Обозначало ли оно предметъ или дѣйствіе, глаголъ или имя существительное? На эти вопросы я даль бы слѣдующій отвѣтъ: совокупность представлений, связанныхъ съ чувствомъ, была первымъ значеніемъ тѣхъ звуковыхъ сочетаній, которыя должны были удовлетворить это чувство. И потому именно передъ нами не глаголъ, не имя, но по своему значенію цѣлое предложеніе. Лишь съ разложеніемъ этого послѣдняго на части,—разложеніемъ, которое должно было выдѣлить отдѣльныя представлениЯ изъ ихъ первоначальной совокупности, могли обособиться представлениЯ о вещахъ и дѣйствіяхъ. Языкъ начинается съ *синтеза*, который не знаетъ ни именъ, ни глаголовъ.

Проф. А. Л. Погодинъ.

О ПЕЧАТКИ.

Стр.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ читать.
11	15 снизу	спасти	снести
42	1 сверху	лилії	линіи
48	16 "	идущей	идущій
55	7 "	aux associativem	auf associativem
73	17 "	больно	больной
77	7 "	dé doublement	dédoublement
77	12 "	извѣстно	извѣстное
77	17 снизу	не отразиться	отразиться
80	3 "	транкортикальной	транскортикальной
107	22 "	кенечно	конечно
112	18 сверху	Тагформа	Ta форма
114	1 "	производимой	производимое
117	19 снизу	второй	средній
119	16 "	соблюдающій	соблюдающихъ
128	6 "	проходитъ	приходитъ
187	2 сверху	взрослые	зрячие
195	17 снизу	гласный	
195	11 "	посвящено	посвященной
195	15 "	конечнаго	предпослѣдняго
210	2 "	inferievres	inferieures
217	4 "	тактическая	фактическая
220	2 "	Австрії	Австраліи
227	3 сверху	глаголъ	глаголы
232	14 снизу	понять	понятія
252	9 сверху	агглютинаціей	агглютинаціей
281	16 "	атторитетомъ	авторитетомъ
329	5 "	à <i>ихо</i>	à <i>ихо</i>
338	15 "	увоззрѣнія	умоззрѣнія
355	21 снизу	pecunia	pecus
369	1 сверху	с	ρ
418	15 снизу	рѣчи	роли
424	3 "	сознаніемъ	созданіемъ
443	19 "	по пробовать	попробовалъ
455	4 и 9 снизу	мѣстоименія	междометія
460	20 "	ласкателное	угрожающее
542	4 "	генетическую	генетическую
552	3 сверху	феллахти	феллахи

Указатель понятій.

- Абстракція** въ мышлени—334; роль слова въ процессѣ абстракції.—335.
Агглютинація.—219.
Артикуляція въ дѣтскомъ языкѣ—194, у глухонѣмыхъ—100, въ языкахъ дикарь: австралійцевъ—218, въ мелапезийскихъ языкахъ—227, у южно-африканскихъ дикарей—239, у жителей Судана—252.
Ассоціації представлений—319; ассоціації у ребенка—170, у животнаго—23; роль ассоціацій въ созданіи языка—515, 518.
Атавізмъ. Атавистические черты въ развитіи ребенка—150.
Афазія—50. Виды ея: моторная (двигательная)—50; сенсорная (чувствительная)—53; амнестическая—57, 60; оптическая—61.
Аффектъ. Аффективный характеръ душевной жизни ребенка—160. Аффективный характеръ первобытнаго языка—402, 458.
Вербигерація—67.
Вниманіе у ребенка—167, у слабоумныхъ—86.
Воляпюкъ (см. искусственные языки).
Жесть. Языкъ жестовъ и звуковой языкъ—541; языкъ жестовъ у глухонѣмыхъ—98; жестикуляція у дикарей—247.
Идо (см. искусственные языки).
Инстинктъ у животныхъ—9.
Истерія—76.
Культура. Характеръ культуры современныхъ дикарей.—215. Культура дикарей австралийского материка—218, 220; культура дикарей островной Океаніи—221; культура южно-африканскихъ народовъ—238; культура американскихъ дикарей—258, 272.
Междометіе, какъ выраженіе рефлекторного акта—517; междометія-слова—517.
Метафора—350.
Метонімія—350.
Мимика. Ея инстинктивный характеръ—122; мимика и слово—125.
Мистицизмъ—126.
Музыка. Внутренняя музыкальная рѣчъ (музыкальное мышление)—45. Музыкальные мозговые центры—46. Музыкальность первобытной рѣчи—528.
Мутізмъ (ослабленіе и исчезновеніе способности рѣчи) у истериекъ—79.
Мышленіе. Безъ-образное мышление—321, образное мышление—349. Мысль и языкъ—482, 539.
Номіналізмъ—философское учение средневѣковья—382.
Образъ—308. Образъ въ мышлении—316. Образъ и слово—311; образы синтетические—309, конкретные и абстрактные—313, 334. Роль зрительныхъ образовъ у глухонѣмыхъ—96; двигательные образы въ психикѣ глухонѣмого—98. Слуховые и осознательные образы у слѣпого—100.
Память у ребенка—166, у дикарей—236.
Парафазія—67.
Познаніе. Мистическое познаніе—126.
Пониманіе въ процессѣ рѣчи—343.
Понятіе—337, 338. Понятія аналитическая и синтетическая—336.
Позія—349. Основные пріемы поэтическаго мышления—349.
Представленіе—340.
Психика ребенка—147, глухонѣмого—93, слѣпого—100, моторного афатика—50, сенсорного афатика—54, истериковъ—77, душевно-ненормальныхъ людей—81, животнаго—8.
Реалізмъ—средневѣковое философское учение—378.
Рефлексъ въ жизни ребенка—151. Рефлекторное восклицаніе, какъ начало рѣчи—455.

Ритмъ. Роль ритма въ психикѣ человѣка—520. Ритмъ въ языке дикарей—258; чувство ритма у слѣпыхъ—102; склонность къ ритму у психически больныхъ людей—81, 84.

Рѣчь. Внутренняя рѣчь (мышленіе словами)—30; типы внутренней рѣчи: слуховой (аудитивный)—34, двигательный (моторный)—35, зрительный (визуальный)—58. Половая эмоція и рѣчь—514, 530. Пониманіе въ рѣчи—343. Возникновеніе рѣчи у ребенка—177. Рѣчь у глухонѣмого—100; рѣчь въ состояніяхъ экстаза—125, 136. Разстройство рѣчи у душевно-больныхъ 68, 78.

Синекдоха—349.

Слово—значеніе слова для говорящаго—345. Характеръ словъ первобытного языка—346, 361, 509. Развитіе значеній словъ—355; суженіе значеній словъ—358; расширение значеній словъ—358.

Сновидѣніе—136; аффективный характеръ сновидѣній—136. Роль внутренней рѣчи въ сновидѣніи—144.

Сознаніе. Состояніе сознанія во снѣ—138. Самосознаніе у ребенка—211. Состояніе сознанія у душевно больныхъ—84; раздвоеніе сознанія у истеричекъ—77.

Сужденіе—340.

Творчество. Языкъ—какъ творчество (energeia)—437. Самостоятельное творчество ребенка въ области языка—200; творчество въ области языка въ патологическихъ случаяхъ (у истеричекъ)—69.

Чувство. Органы чувствъ у новорожденнаго—151. Чувство въ жизни ребенка—160, 164. Чувство и мимика—122. Роль чувства въ установлении связи между звукомъ и значеніемъ—457.

Экстазъ—125.

Эпитетъ—349.

Эсперанто (см. искусственные языки).

Эхолалия—67.

Языкъ. Вліяніе личности на созданіе языка—224, 235, 243, 282, 543, 552. Языкъ жестовъ—114, взаимоотношенія его со словомъ—121.

Предложеніе-слово въ языкѣ—243, 263, 280, 494. Происхожденіе языка—546. Гипотеза о до-языковой дѣятельности человека—491. Первобытный языкъ, какъ спутникъ труда человѣка—477.

Соціальний элементъ въ возникновеніи языка—473, 476, 505.

Роль звукоподражанія въ созданіи языка—456, 465, 467, 534.

Эмоціальный характеръ первобытного языка—400, 549.

Первоначальные корни словъ языка—523.

Возникновеніе языка ребенка—177; стадіи его (языка) развитія—183. Вліяніе среди на развитіе дѣтскаго языка—185. Языкъ ребенка, какъ языкъ аффектовъ—205. Грамматическая категоріи въ дѣтской рѣчи—206. Особенности языка у некультурныхъ народовъ—278; музыкальный элементъ въ языкахъ дикарей—258, 280; характеръ грамматическихъ категорій въ языкахъ дикарей—225, 234, 239.

Языки современныхъ некультурныхъ народовъ: австралійцевъ—218, дикарь острововъ Океаніи—223; малайскіе языки—229; языки дикарь центральной Африки—251; языки южноафриканскихъ народовъ—239; языки американскихъ дикарь—260, 275.

Искусственные языки (волянюкъ, эсперанто и проч.)—289.

История взглядовъ на происхожденіе языка: воззрѣнія древне-греческихъ философовъ (Гераклитъ—366, Демокритъ—367, Платонъ—368, Аристотель—369, Эпікуръ—371), стоиковъ—372, Августина—373, Л. Кара—375.

Средневѣковые мыслители о происхожденіи языка: Эригенъ—378, Ансельмъ Кентерберийскій—380, Абеляръ—384, Фома Аквинскій—389. Взгляды на происхожденіе языка въ новѣйшее время: Лейбница—393, Руссо—395, французская философія 18 вѣка—403, Гердеръ—416, Гаманть—426; взгляды психологической школы: Гумбольдтъ—436, Штейнталъ—457, Лацарусъ—454; воззрѣнія эволюціонистовъ (Дарвинъ и проч.)—459; антропологическая школа—465, 470; Гейгеръ—481, Нуаре—487, Максъ Мюллеръ—487, 490, Герберъ—498, Пауль—514, Естерсенъ—527, Вундтъ—538.

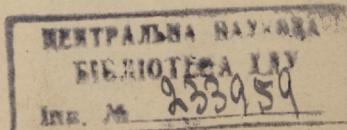
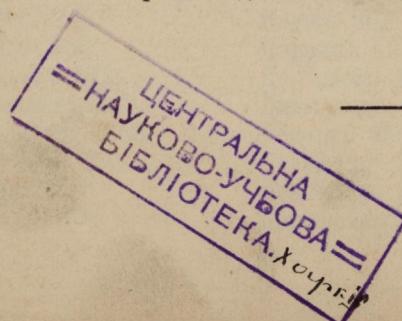
Указатель именъ.

- Абеляръ 384.
Абель 520.
Августинъ 372.
Аделунгъ 434.
Альбертъ Великій 387.
Альтумъ 16.
Амента 187.
Анри 531.
Ансельмъ-Кентерберій-
скій 380.
Аристотель 368.
Аствацатуровъ 55.
Бабинскій 76.
Байрнъ 217, 230.
Балле 36.
Банкрофтъ 278.
Бенфей 365.
Бернхеймъ 47, 52.
Бетсь 315.
Бехтеревъ 53, 56.
Бизе 327.
Бине 320.
Бине и Симонъ 77, 317.
Блеръ 414.
Бликъ 497.
Блохъ 194.
Бодуэнъ - де - Куртепе
303.
Болдуинъ 37.
Бонне 93.
Брайсъ 238.
Бреаль 356.
Брейзигъ 272.
Бринкманъ 328.
Броссъ (де) 408.
Бютнеръ 250.
Вагнеръ 9.
Ватсонъ 27.
Верберъ 502.
Вестермарктъ 287.
Вильямъ 233.
Вирховъ 151.
Владимирскій 95.
Вольфъ 63.
Вундтъ 119, 182, 354,
538.
Вюльнеръ 442.
Габеленцъ 226, 523.
Гальтонъ 39, 282.
Гаманъ 426.
Гаррисъ 394.
Гейтеръ 481.
Гейзе 447.
Гейзеръ 338.
Гексли 464.
Геллеръ 101.
Георговъ 184, 207.
Гераклітъ 366.
Герберъ 498.
Гердеръ 416, 428.
Гернесъ 471.
Гисвейнъ 525.
Голль 148.
Гольдштейнъ 48.
Гриммъ (Яковъ) 443.
Гумбольдтъ В. 276, 436.
Гутцмантъ 189.
Нугенинъ 280.
Даджъ 36.
Дарвинъ 123, 459.
Де-Броссъ 408.
Дежерандо 411.
Декартъ 290.
Деляфоссъ 251.
Демокритъ 366.
Дорошевичъ 289.
Дурнікатъ 496.
Дюгасъ 160.
Есперсенъ 527.
Жане 77.
Заборовскій 513.
Заменгофъ 299.
Зульцеръ 435.
Инженеросъ 45.
Іерузалемъ 340.
Іодль 337.
Картхаузъ 228.
Карпъ (Лукрецій) 375.
Кейръ 175.
Келеръ 384.
Киддъ 236.
Кипнэмманъ 24.
Клашаредъ 149.
Клеве 245.
Клейнпауль 526.
Компейре 176, 180.
Кондильякъ 404.
Коноваловъ 133.
Корсаковъ 68.
Крейбигъ 337.
Крушевскій 353.
Сручет 158.
Кудрявскій 544.
Курти 521.
Кусмауль 54, 59, 153.
Кутюра 307.
Кутюра и Лео 303.
Лацарусъ 454.
Леббокъ 465.
Леви-Брюль 281, 288.
Лейбницъ 393.
Леметръ 41.
Ломброзо 171.
Максимовъ 290.

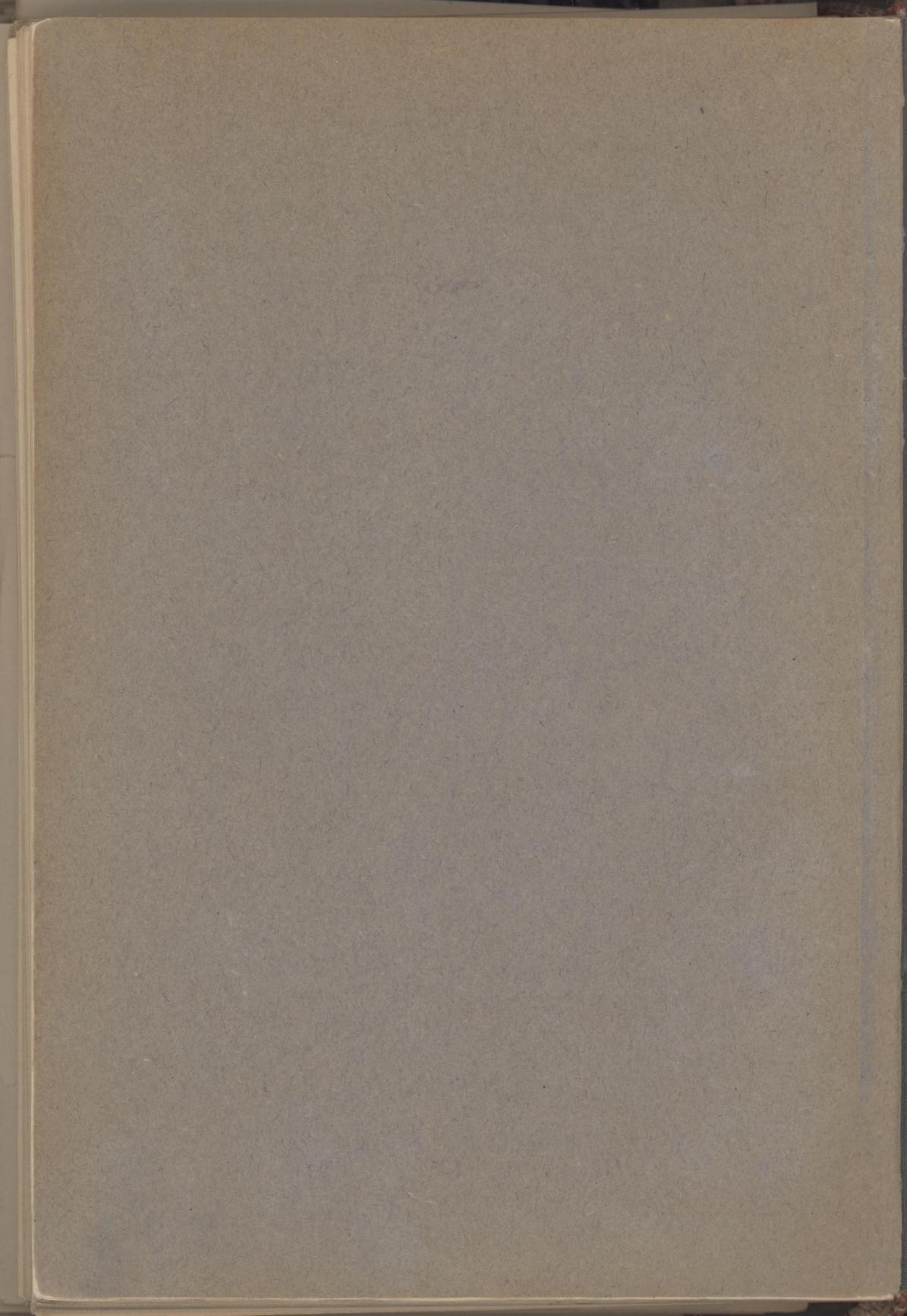
- Маллери 114.
Марбе 341.
Мари 48.
Марти 509.
Мартинокъ 343.
Мартіусь 284.
Мейманъ 167, 170.
Мензератъ 319.
Миклухо-Маклай 225.
Моро 32.
Муръ 334.
Мэтьюсъ 219.
Мюллеръ Г. 550.
Мюллеръ Максъ 477.
Мюллеръ Фр. 217,
 513.
Нуаре 487.
Нюорпъ 328.
Овсянико - Куликовскій
 318, 345, 352.
Пауль 325, 514.
Пельобъ 324.
Пере 165.
Плато 11.
Платонъ 368.
Потебня 13, 345.
Поуэлль 272.
- Прейеръ 152, 167.
Равицъ 179.
Ратцель 217, 244.
Ренанъ 452.
Реньо 521.
Ресежакъ 128.
Рогозинскій 250.
Росцедлинъ 381.
Русло 382.
Руссо 177, 395.
Скоттъ 535.
Смитъ Адамъ 413.
Тайландъе 379.
Твардовскій 337.
Тейлоръ 470.
Тетенсь 433.
Тидеманъ 430.
Торндайкъ 21.
Уиджвудъ 469.
Уитней 504.
Уоллесъ 464.
Ферраръ 466.
Фетерманъ 221.
Филиппъ Ж. 308.
Фиркандъ 282.
Фихте 450.
Фрейдъ 137.
- Фрейденбергеръ 533.
Фреундъ 61.
Фритчъ 285.
Фробеніусъ 290.
Хаджерти 28.
Хакеръ 140.
Хейльброннеръ 54.
Хутнеръ 247.
Цобель 425.
Шарко 32.
Швейнфуртъ 252.
Шиннъ 156.
Шлейеръ 295.
Шлейхеръ 461.
Штейнечъ 216, 258.
Штейнталъ 366.
Штеррингъ 63.
Штрикеръ 35.
Штумфъ 201.
Шуртцъ 473.
Эбинггаузъ 347.
Эджерь 33.
Эпикуръ 371.
Эренрейхъ 234.
Эригенъ 378.
Оома Аквинскій 389.

Оглавлениe.

	Стр.
Глава I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея	3
Глава II. Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ	8
Глава III. Внутренняя рѣчъ	29
Глава IV. Афазія и другія разстройства рѣчи	49
Глава V. Разстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ	68
Глава VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь.	91
Глава VII. Мимика и жестъ	113
Глава VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ	125
Глава IX. Психология дѣтскаго возраста и рѣчъ дѣтей.	146
Глава X. Языки некультурныхъ народовъ	213
Глава XI. Искусственные языки	289
Глава XII. Образъ и слово. Развитіе значенія слова. Слова безъ образа. Понятія. Сужденія	308
Глава XIII. Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка	364
Глава XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названий въ средніе вѣка	375
Глава XV. Лейбницъ и Гарристъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе.	393
Глава XVI. Дальнѣйшее развитіе учений о происхожденіи языка (въ 19-мъ и началѣ 20-го столѣтія)	451
Глава XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ	546



۱۲۷۸



345, 348 389, 407, 488

502 n Nagorno

31352 Oblikovo - Krasnaya

(448), (509) n Nagorno

453 dayanya - Nagorno

(482) - se pavilok svrda
v m. v. v. v. v. v. v.

480